

# Горюч камень Алатырь

**Автор:**

Анастасия Туманова

Горюч камень Алатырь

Анастасия Туманова

Полынь – сухие слёзы #5

Ссылный дворянин Михаил Иверзнев безответно влюблен в каторжанку Устинью, что помогала ему в заводской больнице. И вот Устинья бежала – а вместе с ней ее муж, его брат и дети. След беглецов затерялся... Неужели они пропали в зимней тайге? Сердце доктора разбито. Он не замечает, как всё крепче влюбляется в него дочь начальника завода – юная Наташа. И лишь появление на заводе знаменитого варшавского мятежника Стрежинского заставляет Михаила другими глазами посмотреть на робкую, деликатную барышню...

Анастасия Туманова

Горюч камень Алатырь

Никита Владимирович Закатов, штабс-капитан в отставке, помещик и мировой посредник Бельского уезда, стоял у окна своего дома, смотрел на осенний дождь и слушал экономку:

– Никита Владимирыч, да откуда эта самая дама взялась-то? И кто она вам будет? Молоденькая вовсе, а худа – в чём душа держится! Сидит, трясётся, губы так и прыгают... И мантильку свою Парашке не отдаёт, а ведь мокрая наскрозь!

– Дунька, ты лучше вот что... Собери обед. У меня маковой росинки с утра во рту не было. А у Александры Михайловны, боюсь, и того дольше. И приготовь комнату.

– Так, стало быть, надолго они?..

– Сам пока ещё не знаю, – нехотя отозвался Закатов. – Ступай распорядись насчёт обеда... а вечером, обещаю, я тебе предоставлю полный отчёт. Маняша спит? Она здорова была эти дни?

– Слава богу! – суровая Дунькина физиономия расплылась в улыбке. – Уж как вас дожидались, даже и не капризничали почти! Только что грустили, что Ворона заперчь без вас нельзя... Ну, уж теперь-то накатаетесь!

Дунька ушла. Вскоре из кухни донеслись фельдмаршальские раскаты её голоса. Закатов некоторое время ещё докуривал папиросу, глядя в окно, на дождь. Лицо штабс-капитана, – некрасивое, тёмное от загара, перерезанное шрамом, полученным в последнюю Крымскую кампанию, – казалось безразличным и даже слегка сонным. Однако, мозг Закатова работал бешено, торопясь оценить масштабы сделанной глупости. Папироса не помогла: глупость не убавилась в размерах. Извиняло Никиту лишь одно: поступить по-иному он попросту не мог.

«Делай что должен, и будь что будет, – с усмешкой напомнил он сам себе их с Мишкой любимую фразу. – Кто же это всё-таки сказал – Сенека или Марк Аврелий? Впрочем, какая разница... Теперь главное – что делать с этой девочкой?..»

Александрин ждала его в столовой, сидя на самом краешке стула, как институтка. Её худенькая фигурка в мешковатом, плохо сшитом чёрном платье была вытянута в струнку. С тяжёлой, мокрой мантильи капала на пол вода. Когда Закатов, прихрамывая (колени его было разворочено осколком ядра на Малаховском кургане семь лет назад и во время дождя мучительно ныло), вошёл в столовую, юная женщина повернула голову. С бледного личика взглянули большие, прозрачные глаза. Встав, она совсем по-ученически присела в реверансе.

– Господин Закатов, я...

– Прежде всего, позвольте всё же вашу накидку, Александра Михайловна, – мягко перебил её Закатов. – Она насквозь промокла, и вы замёрзли. Прошу вас пересесть ближе к печи. Сейчас будем обедать, и вы отдохнёте.

– Но я должна, вероятно...

– Вы ровным счётом ничего мне не должны, дитя моё.

Она снова испуганно посмотрела на него. Закатов смущённо подумал о том, что едва ли может обращаться так отечески к юной даме, которая была всего лет на десять моложе его самого. Но шрам и хромота делали Никиту много старше его тридцати двух лет, и впервые в жизни его это порадовало. Кроме того, ему не хотелось, чтобы гостя заметила его собственное смятение. За время обеда, решил Закатов, оба они смогут успокоиться, собраться с мыслями и решить, что же делать далее.

Дунька оказалась на высоте: без единого лишнего слова ею были принесены щи со сметками, котлеты и оладьи с вареньем. Закатов был зверски голоден и накинулся на обед с воодушевлением. То, что Александрин почти ни к чему не прикасается, он заметил, лишь расправляясь с четвёртой котлетой.

– Вы не голодны, Александра Михайловна?

Она вымученно улыбнулась. Хотела ответить, но голос её сорвался. Встревоженный Закатов поднялся из-за стола.

– Может, вам лучше прилечь? Я не подумал, что вы, возможно...

– Не стоит... Право, не стоит! – чуть слышно отозвалась она. – Никита Владимирович... я, наверное, напрасно воспользовалась вашей добротой. Мне следует ехать дальше...

– Куда же вы поедете? – осторожно спросил он. – Вы совсем одна, нездоровы... и, полагаю, без денег.

Александрин молчала. Видно было, как она силится сдержать рыдания, но губы её прыгали, и две крохотные слезинки уже ползли по щекам.

– Поймите, я не желаю вам ничего дурного, – как можно мягче проговорил Закатов, возвращаясь за стол. – И прошу вас не истолковывать превратно моё участие. Да, мы с вами не знакомы, но вашу приёмную мать я знаю много-много лет. Я никогда бы не простил себе, если бы оставил в беде дочь Веры Николаевны.

– Я... я сама виновата в своём положении, – сквозь слёзы выговорила Александрин. – И помочь мне не может никто.

– Ну, это как раз глупости, – с нарочитой беззаботностью отозвался Закатов. – Помочь человеку можно всегда. И поверьте, что в моём доме вас никто и никогда не обидит. И забрать вас отсюда против вашей воли тоже не сможет никто. Если вы желаете, я нынче же напишу княгине Тоневицкой о...

– Нет!!! – перебил его горестный вскрик. И Закатов испугался всерьёз, увидев, как страшно побледнело лицо Александрин. – Прошу вас, Никита Владимирович... не пишите никому... и позвольте, ради бога, позвольте мне уйти!

– Не позволю, – с добродушной суровостью сказал он. – Ещё не хватало, чтобы вы лишились чувств на мокрой дороге. И, разумеется, без вашего согласия я не предприму никаких мер. Прошу вас покуда кушать, Александра Михайловна. А после вы пойдёте отдохнуть.

– Но... у меня даже нет с собой одежды...

– Это поправимо. Возможно, вам подойдёт что-нибудь из вещей моей покойной супруги. Прошу вас, кушайте, Александра Михайловна. У Дуньки всегда отменные щи.

Александрин слабо улыбнулась, кивнула и взялась за ложку.

Она не съела и половины тарелки, уверяя, что сыта, но Закатов видел, что это не сытость, а тяжёлая, чугунная усталость. В конце концов он кивнул Парашке, и девка увела гостью в глубь дома – разоблачаться и отдыхать. Александрин была так измучена, что не возражала.

Оставшись один, Закатов собрался было улизнуть из дома на работы, дабы избежать, хотя бы до вечера, объяснений с Дунькой. Но проснулась трёхлетняя Маняша – и примчалась к отцу через весь дом, обгоняя нянек, с порога кинулась к нему на руки, заблестела чёрными глазами, затрясла кудряшками, смеясь и прыгая, торопливо рассказывая обо всех своих важных делах, – и какие тут, помилуйте, могли быть работы?.. Они вместе напились чаю, пошли на конюшню. Там Закатов тщательно осмотрел своё сокровище – высокого, статного, чёрного как смоль пятилетку Ворона, для которого и не надеялся отыскать пару: хорошие лошади в Бельском уезде были наперечёт и стоили баснословных денег.

«Наверное, и покупать не стоило... – привычно сожалел Никита, оглаживая чёрную, гладкую, как атлас, шерсть красавца-жеребца и прекрасно понимая, что – всё равно купил бы. – «Не ко двору этот князь... Откуда брать деньги на кобылу – уму непостижимо! Возможно, хотя бы к зиме, после продаж...»

Но Маняша не терпела его задумчивости. Вцепившись в рукав отца крепкими ручонками, она решительно потребовала седло, и верхом, и в поле! К счастью, дождь закончился, а оседлать Ворона было делом пяти минут. Отогнав конюха, Закатов с удовольствием сделал всё сам – и вскоре, посадив впереди себя в седло визжащую от восторга дочку, уже летел по скошенному жнивью навстречу багровому, словно кровью залившему тучи закату. И, как обычно, ринулись прочь тяжёлые мысли, отпустила тревога, легко и спокойно стало на сердце, а от звонкого смеха Маняши и её требовательных воплей: «Ещё! Ещё! Ворон, пошёл-пошёл!» хотелось смеяться вместе с нею – и не думать больше ни о чём.

Вместе с дочерью Закатов заехал на село, к старосте, переговорил с ним об уездных новостях. Затем во двор ожидаемо набилась толпа мужиков со всего Болотеева, и Никите пришлось слово в слово повторить всё и для них. Новости были невесёлыми: землю по-прежнему не давали, а подписывать уставные грамоты как-то всё же нужно было. Привычно зарядившись терпением, Закатов отвечал на бесконечные: «Как же так-то, барин?», «Нешто господа не понимают, что мы без земли с голоду перемерём?», «Быть того не может, чтобы сам государь этакий закон придумал!» и «А у нас-то земля останется?» В который раз Никита заверил встревоженных мужиков, что беспокоиться им не о чем: все прежние наделы останутся при них и платы за них он, хозяин, требовать не станет. Уже в сумерках с засыпающей в седле Маняшей он вернулся в усадьбу и, передав на руки Дуньке дочку, понадеялся на то, что та заснёт сама.

Не тут-то было.

– Тятя, тятя, тятя! Ска-а-а-азку!

– Не отвертитесь, барин! – усмехнулась Дунька. – Извольте про «Руслана и Людмилу» чин чином сказывать! Барышня в своём праве: почти целый месяц вас в дому не было!

Закатов покорно проследовал в детскую, дождался, пока Маняшу переоденут и умоют на ночь и, сев рядом с усталой дочкой на край её кроватки, начал рассказывать наизусть «Руслана и Людмилу».

В конце концов, уgomонилась и Маняша. Закатов убедился, что дочка спит крепко, поправил ей одеяло, задул свечу и тихо вышел из детской. В голове по-прежнему неустанно бились мысли о неожиданной гостье. О тех словах, которые вырвались у Александрин на постоялом дворе: «Он не муж мне!» Что это было – отчаяние, истерика, желание напугать? Или – правда? В любом случае, сделанного было не вернуть, а неприятности только начинались.

Обо всём этом Закатов рассказал Дуньке, оставшись, наконец, наедине с экономкой в своём кабинете. Дунька выслушала его, как всегда, молча, насупив рыжие брови и теребя в пальцах край фартука. Под конец тяжело вздохнула и вынесла вердикт:

– Уж будто своих глупостей вам мало, Никита Владимирыч? Ещё и чужие по постоялым дворам собирать вздумали?

– Ну, Дунька, право же... – растерялся Никита. – Не бросать же было её там?

– Сами же сказали, что супруг за барыней приехал! Да растолковал вам, что жена-то не в себе! И по всему видать, что не врал! Я ей раздеться помогаю, а она, сердешная, трясётся вся да плачет, уняться не может... Да всё бормочет не по-человечески, ни слова не понять... Я к ней на всякий случай Парашку приставила да велела глаз не смыкать – чтоб барыня, упаси Господь, над собой чего не сотворила... Оно вам на что сдалось, Никита Владимирыч?

Никита неопределённо пожал плечами. Прошёлся по кабинету.

– Дело, видишь ли, в том, что Александра Михайловна – дочь моей давней знакомой. И я попросту не мог её оставить в таком ужасном состоянии.

– А ну как завтра ейный муж сюда явится? – иезуитски поинтересовалась Дунька. – И потребует жену с рук на руки передать? Тогда что скажете? Ведь это вовсе дело негодное – мужнюю жену от супруга забирать! Господин Казарин на вас предводителю в уезд нажалится – а то и в саму губернию! Тогда-то нам совсем худо станет!

Закатов только вздохнул, понимая, что Дунька права. Козырь у него оставался только один, и тот крайне неубедительный.

– Александра Михайловна уверяла меня, что господин Казарин ей не муж...

– И впрямь рехнулась баба! – всплеснула руками Дунька. – От супруга законного отрещивается! А вы-то и хороши – поверили! Да ведь промеж мужем и женой един Бог судья, а вы-то куда вставились? Ой, Никита Владимырьч, да что ж это теперь будет-то? Ведь вовсе история неподходящая! О Маняше-то вы, небось, и не подумали, когда в нелепие влезали! Дай бог, чтоб полюбовно всё решить удалось с Казариным-то... И свалилась же на нашу голову блажная эта... Что вам стоило мимо-то проехать?!

Крыть было нечем: Никита молчал. Вздыхая и сердито причитая себе под нос, Дунька, наконец, убралась из кабинета. Оставшись один, Закатов подошёл к письменному столу, открыл верхний ящик... и, помедлив, задвинул его обратно. Что толку было извлекать Верины письма, если каждое из них он знал наизусть? Глядя в тёмное окно, за которым мягко шуршал дождь, Никита вспоминал знакомые строки:

«Вы спрашиваете совета, как вам воспитывать дочь... Никита, право, вы преувеличиваете мой педагогический талант. Поверьте, уже семь лет я каждый день трясусь от страха – так же, как и вы. Так же боюсь наделать глупостей – роковых глупостей! – так же не знаю, чем закончится тот или иной мой поступок... И ошибок, поверьте, я сделала не меньше вашего, и ничего уже не поправить и не переделать... Чтобы вы знали наверняка, какова из меня воспитательница, я признаюсь вам, что одна из моих приёмных дочерей два года назад бежала из дому с первым встречным – и до сих пор мне ничего не известно об Александрин! Разве допустила бы это настоящая мать, разумная и мудрая

наставница? Я приложила все усилия, чтобы узнать хоть что-то о девочке, – тщетно. Даже следов этого господина Казарина не удалось найти, – и остаётся только надеяться, что он всё же порядочный человек...»

Никита закрыл глаза – и лицо любимой женщины привычно встало перед ним – тонкое, смугловатое, с тёмными мягкими глазами и родинкой на щеке... Ни разу в жизни ему не приходилось сделать над собой усилие, чтобы вызвать в памяти эти родные черты. С горечью Никита подумал о том, что лицо его покойной жены неумолимо стирается из памяти и скоро он напрочь забудет, как выглядела Настя... ведь даже портрета её не осталось, а ему и в голову никогда не приходило его заказать! И острое чувство вины перед Настей снова дёрнуло за сердце, хотя он ни в чём не был виноват перед ней. Стараясь отогнать мучительные мысли, Никита мотнул головой, прошёлся несколько раз вдоль стены. С невесёлой улыбкой подумал о том, что наконец-то, впервые за много-много лет, у него появился настоящий повод написать Вере. Более того, он обязан будет ей написать. И, к счастью, письмо его принесёт ей облегчение.

Закатов знал, что не в привычках Веры Иверзневой жаловаться на жизненные трудности. Ни в одном своём письме к нему она даже намёком не дала понять, что ей тяжело, трудно, что у неё опускаются руки... Но, сам оставшись три года назад один с крошечной дочерью на руках, Никита даже вообразить себе не мог, каково это – овдовев в двадцать два года, стать матерью четверых приёмных детей, старший из которых моложе тебя лишь на восемь лет. Как она справлялась, откуда взяла силы, как не пала духом, не провалилась в отчаяние, – ведь ей некому было помочь? Никита не знал и не смел спросить. Да Вера и не ответила бы ему.

«Надо было жениться на ней тогда... – ожесточённо думал Никита, расхаживая по тёмному кабинету. – Не трусить, не разводить рассуждения о том, что отставной штабс-капитан с полусотней душ и двумя сотнями десятин – не пара для вдовы князя Тоневицкого... Она любила тебя, чёрт возьми! Всю жизнь ждала от тебя нескольких бесполезных слов – а ты так и не набрался храбрости, чтобы их сказать! Не пара он ей, видите ли... Разумеется, не пара, – ну и что? Вера никогда в жизни не гонялась за блестящими партиями! За Тоневицким оказалась замужем по чудовищному недоразумению, ни капли его не любя! Взвалила на себя его детей, тащит их до сих пор без слова жалобы! А ты... ты, который мог бы ей помочь... мог разделить с нею эту ношу, мог поддержать, подставить плечо... где ты был, сукин сын?! Страдал по поводу развороченной на войне морды и хромой ноги – как будто жизнь на этом закончилась! Как будто тысячи

людей не пришли с войны такими же – а то и много хуже! Ты ведь не инвалид, по крайней мере! Зато тешил остатки самолюбия, гордо отказавшись от женитьбы на богатой вдове! А то, что эта вдова всю жизнь тебя любила и ты сам по ней с ума сходил – это оказалось не важно и не нужно! Вот и получил по заслугам за всё сразу! Сиди теперь, как сыч в дупле, болван, и скажи спасибо, что Вера хотя бы на письма твои отвечает! Впрочем, чему же удивляться... Воспитание!»

Но, думая так, Никита понимал, что кривит душой: никогда в жизни Вера не написала бы человеку, утратившему её уважение. Как знать... может быть, она и впрямь простила его за их сломанные жизни. Каждый раз Никита надеялся на это, получая очередное письмо – тёплое, ласковое по-сестрински, полное заботы и внимания. Вероятно, такие же письма она писала брату Мише, лучшему другу Никиты, который сейчас находился в ссылке под Иркутском. Но, понимая, что любовь Веры Иверзневой для него утрачена безвозвратно, Никита всё же нетерпеливо ждал этих писем, а получив – перечитывал по многу раз, пока в конце концов не заучивал наизусть. Ему было интересно всё до капли: и то, как старший пасынок Веры управляет с огромным именем, и то, что младшего исключили из петербургского университета после студенческих беспорядков, и успехи княжны Аннет в музыке... И об Александрин, убежавшей из дома с человеком, за которого мачеха отказывалась выдавать её замуж, Никита тоже знал из писем Веры. Именно поэтому ему показалось знакомой фамилия Казарина, когда несколько месяцев назад Закатов приехал к соседу по обязанности мирового посредника – решить спор с его дворовыми людьми. Однако, увидев во дворе Казарина великолепную орловку Няяду, Закатов мгновенно забыл обо всём на свете и дальше мог думать только о том, как бы эту Няяду купить. Казарин, впрочем, был крайне недоволен тем, что спор был решён в пользу его крепостных, и продавать красавицу-кобылу наотрез отказался.

«Ведь приедет завтра наверняка... – мрачно размышлял Закатов, остановившись у окна и глядя в осеннюю темноту. – Приедет и со скандалом заберёт Александрин домой! И что ты сможешь сделать, если она ему жена? Права Дунька, глупость совершена – и больше ничего. Разумеется, безумно жаль девочку. Совсем юной, неопытной попасть в руки такому мерзавцу, поверить в его чувства... Вера писала, что Александрин была влюблена до потери памяти и отказывалась внимать всем доводам... Что ж теперь? Ещё одна сломанная судьба. Грустно, но разве можно что-то сделать? Впрочем, стоит всё же написать Вере... В конце концов, может приехать её старший сын, пригрозить этому сверчку Казарину... Всё же Тоневицкие – фамилия в губернии известная, влиятельная, Казарин, возможно, испугается... Решено, так и сделаю. И до

приезда кого-нибудь из родни не выпущу Александрин из дому, хоть муженёк удавись! Как же он, однако, умудрился довести её до такого состояния? Она ведь не только говорить – даже есть не может! Сильнейшее нервное истощение... а ведь ушла же от него пешком, одна, без всяких планов на дальнейшее! Не попадись ей я – чего доброго, в реку кинулась бы... Нет, пожалуй, всё было сделано правильно! Не тушуйся, Закатов: терять тебе всё равно нечего.»

Огонёк свечи замигал под порывом сквозняка и погас. Никита для верности прижал его пальцами. Оказавшись в полной темноте, прижался лбом к холодному оконному стеклу. Снова представил себе улыбающееся, милое лицо Веры. Привычно обозвал себя старым дураком и, припадая на ноющую ногу, вышел из кабинета.

За весь следующий день гостя так и не вышла из предоставленной ей спальни. Парашка, впрочем, доложила, что всю ночь барыня спала как убитая и всё утро тоже. Затем ей подали чаю, но она отказалась. И пролежала целый день в постели, неподвижная, как кукла, отвернувшись к стене. Парашка с Дунькой поочерёдно заглядывали в спальню, чтобы убедиться, что гостя «хотя бы дышит». На обед она тоже не вышла, и Закатов, надеявшийся вооружиться хоть какими-то подробностями семейной жизни Александрин для беседы с её супругом, был вынужден остаться ни с чем. Он прождал Казарина целый день, не поехав ни на работы, ни к соседям, – но только на закате в дом с вытаращенными глазами, на бегу вытирая грязные пятки лопухом, кубарем влетел внук конюха Кузьмы, Андрюшка:

– Барин, едут! Подъезжают уж! К Болотееву завернули!

Дом тут же наполнился беготнёй, стуком босых ног, приглушёнными Дунькиными командами и испуганным переписком девок. Маняшу срочно увели на конюшню – единственное место, куда она готова была идти без спора. Однако, когда казаринские дрожки закатились в ворота, дворня попряталась по углам, и хозяин встречал гостя на крыльце один.

– Добрый вечер, Алексей Порфирьевич, – спокойно поздоровался Закатов. – Слава богу, что до дождя успели: вон, опять туча из-за Агаринки ползёт.

– Да... дожди в этом году-с... – Казарин, подобрав полы горохового пальто, осторожно выбирался из дрожек. – Сущий потоп вселенский, надобно заметить... Хоть вовсе за ворота не езжай! И рожь просто на корню погнила, разоренье сущее-с... У вас, Никита Владимирович, тоже так?

– У меня места повыше, не сгнило, – в тон ответил Закатов, изумляясь про себя этой неуместной болтливости соседа. – Овсы – так и вовсе выше всяческих похвал. Прошу вас, Алексей Порфирьевич, проходите в столовую. Поужинаем, чем Бог послал.

В продолжение ужина изумление Никиты росло. Казарин вёл себя так, будто никакого вчерашнего происшествия на постоялом дворе не было и в помине. Он болтал о пустяках, смеялся дробным, неприятно высоким смешком, без нужды вертел в пальцах столовые приборы и делал многословные комплименты суровой Дуньке, которая ради такого случая выгнала из столовой девок и прислуживала за ужином самолично. Об Александрин не было сказано ни слова. Когда подали лафит, Закатов уже начал надеяться на то, что через полчаса Казарин попросту отбудет домой.

Надежда, впрочем, лопнула, едва успев зародиться. Выпив одну за другой три рюмки лафита, Алексей Порфирьевич хрюкнул, откинулся на спинку стула и, тщательно прокашлявшись, спросил:

– Так как же будем с... с нашим дельцем, Никита Владимирович?

– С чем? – нахмурился Закатов.

– Да как же-с... Вы на себя такую обузу приняли... Напрасно, разумеется, было и трудиться, но... Безусловно, честь дамы... Я, конечно же, кругом безвозвратно виноват, но... все меры кротости просто бессильны, бессильны оказались! Должен вам поклясться, что я предпринял всё возможное, но... сами изволите видеть... – Казарин как-то странно захихикал, ёрзая в кресле и потирая руки. Недоумённого взгляда хозяина он старательно избегал. С минуту Закатов не сводил с него глаз – и в конце концов понял, что Алексей Порфирьевич попросту до смерти перепуган. Растерявшись, он покосился на Дуньку, наполнявшую казаринский стакан в четвёртый раз. Та ответила спокойным, чуть насмешливым взглядом, чуть заметно усмехнулась – и с этого момента Закатов перестал беспокоиться. В голове воцарилась ясная, холодная пустота – как давным-давно,

в молодости, когда он ещё играл в карты и мог без особых усилий «выставить» весь офицерский состав своего полка.

– Итак, Алексей Порфирьевич, я жду ваших объяснений, – сухо сказал он. – Судьба Александры Михайловны мне небезразлична: я, как вы знаете, ей почти родственник. Вы совершили преступление, похитив её из дома княгини Тоневицкой. Вы довели её до тяжёлого нервного расстройства. Госпожа Влоньская находится почти в помешательстве. Кроме того, мне известны и другие обстоятельства, которые ничуть не облегчат вашу участь в случае законного вмешательства...

Закончить свою тираду, балансирующую на грани феерической наглости и самого отчаянного блефа, Закатов не успел: Казарин вдруг разрыдался, уткнувшись в кулаки и сотрясаясь всем телом. От растерянности Никита, который впервые в жизни увидел плачущего мужчину, умолк на полуслове. Такой реакции на свои слова он и предвидеть не мог. Никита чуть заметным движением бровей отослал Дуньку (ту сразу же сдуло) и щедро долил в стакан лафита, искренне сожалея, что это не водка.

– Успокойтесь же, Алексей Порфирьевич! Стыдно, право... Выпейте. Вот так, я думаю, будет лучше. Итак – я вас слушаю.

Казарин, всхлипывая и давясь, осушил стакан лафита, вытер скомканной салфеткой лицо, оглушительно высморкался в её край – и начал рассказывать.

История Казарина оказалась проста и отвратительна. Небогатый помещик Калужской губернии, он когда-то служил в Москве по акцизному ведомству, куда не случилась «досадная неприятность с казёнными средствами», из-за которой Казарин был вынужден выйти в отставку. До тридцати пяти лет он жил в своём крохотном имении в Малоярославецком уезде, худо-бедно распорядясь десятком крепостных и неумолимо скатываясь в нищету. Семьи у него не было, обзаводиться друзьями Алексей Порфирьевич не чувствовал потребности, жениться не мыслил и разгонял скуку игрой в шток с соседями да настаиванием «ерофеича» на берёзовых почках. Таких, как он, были тысячи по уездам и губерниям империи. Вероятнее всего, Казарин прожил бы бессмысленную жизнь, прокисая со скуки, и в конце концов скончался бы от удара или белой горячки. Но в размеренное существование отставного акцизного чиновника без спросу ворвалась крепостная девка Гранька.

Никто из двора не знал, как смогла дочь толстой, бесформенной и одышливой кухарки вырасти в ослепительную красавицу. Стройная, высокая, с тяжёлой чёрной косой, Гранька носилась по дому то с вёдрами воды, то с тряпками, то с тяжёлыми ушатами стирки, командовала девками, покрикивала на конюхов и скотников, ругалась с деревенскими мужиками, привозящими провизию и дрова, – и жгучие глаза её блестели холодно и весело, полные губы дрожали в усмешке, жарко вспыхивал смуглый румянец на круто очерченных скулах, а звучный голос дрожал надменными перекатами. Девка вела себя как хозяйка имения, и все, от матери до последнего казачка, почему-то позволяли ей это. Не отстал от своих крепостных и Казарин. Когда он приехал в осиротевшее имение и увидел эту черноглазую царицу, уверенно распорядившуюся в комнатах и во дворе, у него перехватило дыхание. Через неделю Гранька царствовала в спальне барина с такой же спокойной уверенностью, что и во всём имении.

Это не была обычная связь барина с дворовой девчонкой. Казарин, не избалованный женским вниманием и лаской, совершенно потерял голову. Дворовые даже пугались, наблюдая за тем, с какой лихостью Гранька прибирает хозяина к рукам. Сама она приняла поворот своей судьбы, казалось, как должное и ничуть не изменилась: лишь в голосе её прибавилось властных и презрительных ноток. Гранька пошла себе несколько дорогих «барских» платьев, материю для которой Казарин привёз ей из уездного города, начала по-господски укладывать волосы, а на поясе у неё повисла связка ключей. Дворовые только крестились, видя, что Гранька делает с бариним что хочет, и на всякий случай стали обращаться к семнадцатилетней девчонке «Глафира Прокловна» и «матушка». Гранька лишь мельком кивала в ответ – и хорошела с каждым днём всё больше. Окрестные помещики, глядя на то, как счастливый Казарин катается со своей фавориткой в новых дрожках на речку и в рощу, понимающе усмехались – и люто завидовали: Глафира Прокловна была самой красивой женщиной на весь Малоярославецкий уезд.

Через год жизни с бариним Гранька выпросила себе волю. Казарин опрометчиво подписал все бумаги – и сельская идиллия с поцелуями в цветущей черёмухе на фоне заката сразу закончилась. Гранька сделалась капризной и раздражительной. Она швырялась дорогими подарками, била служанок, часами рыдала, жалуясь на то, что живёт со «светом души своей» Алексеем Порфирьичем невенчанной, как последняя гулящая девка, и грозясь уйти в услужение к соседу-помещику, красавцу-гвардейцу Чулымову. Последней угрозы Казарин не вынес: зачестивший в гости Чулымов действительно глаз не сводил с Граньки, браво шевелил усами, рокотал басом столичные комплименты и огромной своей фигурой делал акцизного чиновника в отставке фигурой уж

вовсе незначительной. Понимая, что его единственный и последний козырь – женитьба, Казарин махнул рукой – и тайно, в соседнем уезде, обвенчался со своей бывшей крепостной.

Около года Гранька властвовала в имении самодержавно. Дворовые девки считали счастливым день, если удавалось не навлечь на себя гнева барыни. Наказания и побои сыпались градом: за плохо выметенный пол, за скисшее молоко, за разбитую нечаянно чашку, за заспанный вид или недовольное лицо... Казарин уже давно ни во что не вмешивался: он и сам побаивался жены. Граньке стоило только чуть свести стрелы густых бровей на переносице и взглянуть через плечо холодным, презрительным взглядом – и Алексей Порфирьевич был готов исполнить что угодно. Весь скромный доход с имения тратился теперь на наряды и украшения для «любезной Гранюшки»: вскоре золотыми серьгами и браслетами наполнилась целая шкатулка. Соседи, впрочем, над Казариным посмеивались и в гости с молодой женой не звали – что Граньку немало огорчало. Рыдая, она обвиняла супруга в том, что по его милости она никуда не может выехать, что господа от неё «нос воротят», что она вынуждена сидеть, как мышь под веником, день-деньской, и даже кататься теперь не поедешь, потому что из-за заборов смеются «подлянки-девки». Упомянутые девки боялись не только смеяться, но даже зевнуть в присутствии барыни – но Казарин ничего не замечал. Униженно объяснял холодную насмешливость соседей «дикостью нравов провинциальных», утешал Гранюшку рассказами о Фёдоре-Американце и графе Шереметеве[1 - Фёдор-Американец – граф Фёдор Иванович Толстой. Был женат на певице из цыганского хора Прасковье Тугаевой. Шереметев – граф Николай Петрович Шереметев. Был женат на крепостной актрисе Прасковье Ковалёвой-Жемчуговой.] и – дарил, дарил, дарил...

Вскоре оказалось, что Казарин разорён. Две деревеньки были заложены и перезаложены, за последнюю не давали более десяти тысяч, из двух десятков крепостных тринадцать было в бегах, долгов и векселей оказалось море. Обнаружив сей прискорбный факт, Гранька устроила всеокрушающий скандал, обвиняя мужа в том, что он довёл её до нищего рублища. В ответ на осторожное предложение продать что-нибудь из драгоценностей и частично погасить векселя она закатила роскошную истерику, закончившуюся обмороком. Три дня перепуганный Казарин не решался даже рта открыть в присутствии огорчённой супруги – а на четвёртый она супруга исчезла из имения – вместе со шкатулкой своих драгоценностей. Через несколько дней стало известно, что Граньку видели в Калуге, в придорожном трактире, вместе с Чулымовым. Далее след обоих терялся.

Утратив любимую супругу, Казарин жестоко запил. Придя в себя лишь к первому снегу, он осознал, что положение его катастрофическое. Продавать и закладывать было уже нечего. Оставшиеся крепостные голодали так же, как и барин, – но, в отличие от него, могли хотя бы ходить с котомками под окнами богатых сёл, выпрашивая милостыню. Казарину же не оставалось и этого. Он попытался было поехать по соседям с жалобами на жену и подлеца Чулымова – но над ним смеялись в открытую, сочувствовали притворно, а займы соглашались дать такие копейки, что не стоило ради них и унижаться. Оставалось последнее средство – московская тётка. Олимпиаде Никифоровне было уже под восемьдесят, и Казарин оставался её единственным родственником. Серым декабрьским утром Алексей Порфирьевич выехал в Первопрестольную.

Москва тем временем готовилась к Рождеству и Святкам. В каждом доме играла музыка, устраивались балы, живые картины и домашние спектакли, повсюду играли в шарады, танцевали, ели пироги, веселились и ездили на катанья с гор. Олимпиада Никифоровна приняла племянника из провинции холодно, в дом впустила, но денег не дала ни копейки. К тому же быстро сделалось понятно, что здоровьем тётушка обладает отменным и в мыслях не держит помирать. От отчаяния Казарин уже начал было подумывать о том, чтобы вновь поступить на службу. Этому тётка взялась поспособствовать охотнее: в Москве у Олимпиады Никифоровны было множество полезных знакомств. В ожидании дня, когда его сведут с «нужным человечком», Казарин ездил по гостям. В один из святочных вечеров он оказался в доме Гагариных на Пречистенке, где его представили воспитаннице княгини Тоневицкой Александрин Влоньской.

Увидев перед собой бледную худышку с узким, болезненным личиком, Казарин вежливо поклонился и пригласил барышню на вальс. Мысли его крутились далеко от бального флирта. Он машинально нёс какую-то светскую чепуху вперемешку с обрывками стихотворений и комплиментами – и был крайне изумлён, заметив, что юная барышня слушает его с улыбкой, а её большие, прозрачные глаза полны непритворного восторга. Ни разу за все казаринские тридцать шесть лет ни одна женщина не смотрела на него так.

Заинтригованный и польщённый, Алексей Порфирьевич пригласил Александрин на котильон, затем – на мазурку. После он познакомился с братьями Влоньской и прелестной сестрицей Аннет, имел занятный разговор с княгиней и, наконец, был приглашён бывать в доме Тоневицких.

Ночью Казарин ходил из угла в угол своей комнаты в тёткином доме, сжимал в зубах погасшую трубку и думал о том, что другого шанса у него не будет. Тоневицкие богаты. За Александрин дадут приличное приданое. Женихов у неё, судя по всему, мало: все эти молодые дураки, как один, увиваются за её сестрой. Но Казарин недаром считал себя человеком разумным: к Аннет он даже подходить не стал. Всерьёз стоило заниматься только Александрин!

Тот прискорбный факт, что он женат, Казарин усилием воли отодвинул на задворки памяти. В конце концов, венчались они с Гранькой тайно, для всего уезда она была его крепостной фавориткой, а, стало быть, эта глупая история вполне могла никогда не вылезти наружу. Усадьбу в Малоярославецком уезде следует продать, пусть даже за смешные деньги, и уехать куда-нибудь подальше, где его никто не знает. На полученное приданое можно будет прикупить и хороший дом, и новых душ... Надо, надо торопиться!

Не избалованная мужским вниманием Александрин вскоре влюбилась в Казарина до смерти. Они виделись каждый день – и в доме Тоневицких, и в гостях, – танцевали, разговаривали, обменивались намёками и опасными шутками. Казарин даже почувствовал себя слегка увлечённым. В конце концов, и на его долю мало доставалось женского внимания, и, наблюдая каждый день в зеркале свою непрезентабельную физиономию, Алексей Порфирьевич не мог питать иллюзий. Здесь же он таял под восхищённым и ласковым взглядом девичьих глаз, млел от чуть слышного шёпота «Alexise, mon ange...» – и самолюбие растекалось куском подогретого сливочного масла.

Однако, приёмная мать Александрин оказалась весьма здравомыслящей особой. Когда Казарин официально попросил руки её воспитанницы, княгиня долго и дотошно расспрашивала его о доходах, имении и крепостных, по нескольку раз задавала одни и те же вопросы, потребовала документы, – и Казарину удалось отговориться лишь тем, что он находится в Москве в гостях, а все бумаги остались дома, в имении. Вежливо, но непреклонно Вера Николаевна дала понять, что, пока она не увидит документов, подтверждающих состояние жениха, о свадьбе не может быть и речи. Казарину оставалось лишь согласиться с этим разумным решением.

Прошёл месяц. Бумаги всё не приходили (и немудрено!), зато до княгини Тоневицкой непостижимым образом добрались сплетни о том, что господин Казарин женат! Казарину немедленно отказали от дома – и в тот же день Алексей Порфирьевич, понимая, что терять ему более нечего, предложил

Александрин бежать с ним. Та немедленно согласилась. Едва выехав из Москвы, они обвенчались в придорожной церкви. Оставалось лишь добраться до Казаринки, продать её, переехать от греха подальше в соседнюю губернию – и уже оттуда писать Тоневицкой, требуя законной передачи приданого.

Дома всё сложилось весьма удачно: Казарин быстро сумел избавиться от последней деревеньки, выкупил закладные, написал в Бельский уезд старинному знакомому, который давно мечтал избавиться от обветшавшего родового имения, следом за письмом поехал туда сам, оформил купчие на дом, сорок десятин земли и четырёх крепостных, заплатил деньги и, весьма довольный, увёз молодую жену в Смоленскую губернию. Александрин была счастлива. Был рад и Казарин. Однако, идиллия в Прохоровке длилась ровно месяц. Весной к ним, как снег на голову, явилась Гранька.

... – Понимаете, этот сукин сын... Чулымов, мерзавец... попросту бросил её, когда кончились деньги! И ведь всё, всё, что я Гранюшке дарил, он тоже спустил! На вино и на карты пробросал, подлец! И сбежал от неё, в конце концов, и хоть бы за номер в гостинице заплатил, проклятый – тоже нет! Воистину, нет предела свинству человеческому! – горячился Казарин. Глядя на его куриное личико, распалённое праведным гневом, на трясущийся дряблый подбородок, Закатов ошеломлённо думал: ведь не прикидывается, поганец, в самом деле возмущён до предела, оскорблённым себя чувствует... И, сохраняя на лице каменное выражение бывалого понтёра, слушал дальше.

Положение оказалось ужасным. Александрин сначала не хотела ничему верить. Но Гранька с размаху хлопнула по столу метрикой о венчании, и в одно мгновение воспитанница княгини Тоневицкой из законной супруги сделалась обманутой дурочкой.

Однако, нужно было как-то жить дальше. Гранька, слегка попритихшая после неудачного побега с Чулымовым, выслушала оправдания трясущегося супруга благосклонно. Она даже согласилась изображать перед соседями экономку Казариных: это было несложно, поскольку новых владельцев Прохоровки в уезде никто не знал. Гранька даже попыталась убедить Александрин, что не пытается претендовать на место возле Алексея Порфирьевича. От убитой горем девятнадцатилетней девушки просили лишь одного: написать приёмной матери о своём семейном счастье и потребовать выдачи приданого.

Но тут Александрин неожиданно воспротивилась и наотрез отказалась писать Тоневицким. Казарин и предположить не мог в хрупкой, нервической барышне такого упрямства! Гранька попыталась было устроить один из своих знаменитых скандалов, но коса нашла на камень. Не менее опытная в таких делах Александрин закатила головокружительную истерику, выбежала на улицу в неглиже, рухнула там без чувств – и Казарину стоило больших усилий поднять её и занести в дом. Месяц уговоров, угроз и улещиваний не дал результатов. Белая от ярости Гранька, стиснув зубы, поклялась, что своего добьётся, и избила Александрин веником, пригрозив в следующий раз использовать полено. Александрин в ответ потихоньку попыталась повеситься. Если бы не дворовая девка, сунувшаяся в сенной сарай как раз тогда, когда Александрин уже билась в накинутах на гвоздь петле, – дело кончилось бы совсем скверно. Этого Казарин испугался всерьёз, сделал строгое внушение Граньке, – и Александрин на время оставили в покое.

– На что же вы рассчитывали, господин Казарин? – задумчиво спросил Закатов, разглядывая лежащую на столе подкову, которая использовалась им как пресс-папье для бумаг. – Ведь вы таким образом, как я понимаю, прожили почти три года? Между двумя женщинами, которые...

– Ужас! Ужас, господин Закатов, просто ад! Ад и преисподняя! – замахал короткими ручками Казарин. – Вы вообразить не можете, что я вынес... и до сих пор выношу каждый день! Гранюшка, конечно, натура страстная, может и сказать в сердцах крепко, и даже прибить... но душа у неё золотая, поверьте, золотая! А Александра Михайловна упорствовать изволят... то в обмороках, то в рыданиях... Ведь, поверьте, все меры кротости исчерпаны были за эти годы! И ведь я ни на чём особом не настаивал... Но ведь это справедливо, согласитесь, когда жена несёт в дом приданое и таким образом, способствует...

– Какое же приданое принесла вам ваша Гранька? – спросил Закатов, по-прежнему не поднимая глаз. Выдержка опытного карточного игрока уже сдавала позиции. Душное бешенство давило горло. Впервые в жизни Никите хотелось убить, раздавить, как омерзительное насекомое, сидящего перед ним перепуганного человечка в рыжем сюртуке.

– Вот вы шутить изволите, а мне вовсе не до смеха! – Казарин, поглощённый своими переживаниями, не замечал того, что происходит с Закатовым. – Александра Михайловна мало того, что в упрямстве своём осталась – так ещё и убежать сколько раз пробовала! К счастью, догоняли и ловили... Гранюшка

после этого попросту вне себя была! И вы не представляете, каких усилий мне стоило всё уладить! А несколько раз, каюсь, недоглядел, и Гранюшка немного меру перешла... Я ей после уж толковал-толковал, что госпожа Влоньская всё же не девка дворовая и меры воздействия другими должны быть...

– Ваша Гранька изо дня в день мучила беспомощную девушку. И вы ничего не могли сделать?

– Но помилуйте... я и так делал всё, что мог... Ночей не спал! – судорожно прижал руки к груди Казарин. Его, наконец, начало беспокоить окаменелое лицо собеседника, его опущенные в стол глаза, короткие, будто рубленые вопросы. Во всём этом бывший акцизный чиновник чувствовал какую-то смутную опасность для себя и, не зная, что предпринять, говорил всё быстрее и сбивчивей.

– Понимаете ли, после того, как Александра Михайловна в прошлом году ребёнком разрешилась и умер он... она вовсе здравый ум потеряла! Уже никак воздействовать нельзя было! А положение наше было таким, что...

– То есть, денег у вас так и не было?

– Не было! – обрадовался Казарин знакомой теме. – Никаких не было, милостивый государь! И взять было неоткуда! У нас с Гранюшкой единственная надежда была на приданое от Тоневицких! Скоро в доме и поесть нечего станет! Осталось разве что Няяду продать...

– Ту вороную кобылку? Она довольно дорога...

– Ах, так вы её помните?! Это да, Няяда в самом деле породу имеет и стать прекрасную... Не хотите ли, кстати, купить?

– Боюсь, у меня нет таких денег, – заметил Закатов. Но Казарин уже воодушевлённо закудахтал:

– Ну, что за вздор, что за нелепица! Какие счёты между добрыми соседями?! Сочтёмся, безусловно, сочтёмся! Я и настоящей цены за лошадку с вас не возьму, ценя ваше сочувствие и понимание... Даже и половины не запрошу! Для меня важно, что Няяда в хорошие руки попадёт, а то ведь в нашем захолустье

для неё и хозяина понимающего не сыскать... Я вас только умоляю, милостивый государь, воздействовать на Александру Михайловну! Вы ведь согласны, что вчера она была в некотором помрачении и лишь поэтому... Я вас, сохрани Господь, ни в чём не обвиняю, вы поступили как благородный человек, но вы ведь не знали...

- Не знал. Но теперь знаю.

- Ну, вот видите же! - обрадовался Казарин. - Я ехал к вам в полнейшем убеждении, что мы поймём друг друга! Завтра же распоряжусь пригнать к вам Няяду, купчую и все документы оформим позже в уезде, когда вам это будет удобно, - а взамен лишь попрошу, чтобы Александр...

- Взамен? - бесцветным голосом переспросил Закатов. И поднял глаза.

В следующий миг Казарин с паническим писком скатился со стула. И вовремя: в полувершке от его головы пролетела полторафунтовая подкова. Заверещав по-заячьи, Казарин бросился к дверям - но Закатов одним прыжком настиг его, и в сени Алексей Порфирьевич был отправлен мощным ударом кулака. Вторым ударом он был выкинут на крыльцо. Следом вылетел Закатов - и ещё один удар отправил гостя на середину двора.

Подскакивая, как курица, и визжа на всю округу, Казарин бросился было к своему экипажу, - но Никита настиг его. Сбежавшиеся дворовые, заполошно прыгая и приседая вокруг, наперебой причитали:

- Ваша милость! Никита Владимирыч, отец родной! Да оставьте же, что за бес вас взял... Убьёте же! Под суд пойдёте! Барин, ради бога, грех... Авдотья Васильевна, кормилица, сюда, сюда!!!

- И-и-и-и-эх, хол-лера!!! - зычно прогремело над двором - и Закатова окатило с головы до ног ледяной водой. Грохот брошенной наземь бадьи смешался с Дунькиным воплем:

- Кому сказано, уймись! Маняшу напугаете! А вы что встали, олухи?!

Мужики наконец-то пришли в себя – и общими силами оторвали своего барина от окровавленного гостя. Казарин, всхлипывая и подволакивая ногу, вскарабкался в дрожки, и экипаж, сорвав по дороге створку ветхих ворот, выкатился со двора.

– Я на вас в суд подам!.. – слышался плачущий голос.

– Сколько угодно, мер-рзавец! – рычал вслед Никита, бешено вырываясь из рук своих конюхов. – Если желаете требовать сатисфакции, то я к вашим услугам хоть сейчас!

– Вот я вам покажу сасифацию! – рявкнула Дунька, – и Закатов разом пришёл в себя. Шумно выдохнул, выпрямился. Стряхнул с себя Авдеича и Кузьму. Провёл ладонью по мокрому лицу. С недоумением посмотрел на огромную лужу у себя под ногами.

– Чёрт... Дунька... Ты с ума сошла?..

– Это я-то с ума сошла?! – зловещим шёпотом переспросила экономка. Подняла пустую бадью, подобрала вымоченный до колен подол и, печатая шаг, удалилась в дом. Никита, перешагнув лужу, пошёл следом. Авдеич и Кузьма испуганно переглянулись, вздохнули – и отправились чинить оторванную створку ворот.

Дома, за плотно закрытыми дверями, Дунька устроила своему барину разнос:

– Хороши, господин мировой посредник, нечего сказать! Во всей красе себя явили! Суций мужик пьяный в кабаке! Вся дворня любовалась! Ваше ещё счастье, что Маняшу в сад Парашка утащила! А ну как услышала бы барышня, выбежала на двор, увидела, какое папенька нелепие творит? И не стыдно вам дитяню до смерти пугать?!

– Дунька, но она же ничего не видела... – робко напомнил Закатов, который стоял в прилипшей к телу рубахе и вытирал голову полотенцем. Последний раз он дрался кулаками ещё в кадетском корпусе и сейчас чувствовал себя очень глупо. – И что, по-твоему, нужно было делать? Ты даже не представляешь, какой сукин сын...

– Слышала, слышала, – отмахнулась Дунька. – И что с того? Таких-то учить – что мёртвого лечить! И к себе никакого уваженья не иметь! Вот как в самом деле он на вас в губернию пожалится – что делать будете?

– Не пожалуется, – угрюмо возразил Закатов, швыряя скрученное полотенце на спинку кресла. – У него самого рыльце в пушку. И ведь каков подлец – ещё взятку предлагал! Вороной кобылой, к-каналья!

– Что делать-то будем, Никита Владимирович?

К этому вопросу Закатов оказался не готов и некоторое время молча ходил по комнате, хмурясь и ероша ладонью непросохшие волосы.

– Что делать?.. Право, не знаю. Влоньская, разумеется, останется здесь. Вероятно, я напишу её матери. А на Казарина надо подавать в суд! Кстати, Александра Михайловна проснулась?

– Да вы ведь и покойника подымете! – проворчала Дунька. – Пойду гляну. А вы покуда хоть в приличный вид себя приведите! Суший атаман разбойный, а не...

– Дунька, отчего ты замуж не идёшь?

Экономка в недоумении обернулась. Закатов, сидя на краю стола с папиросой в зубах, старательно прикуривал от свечи, и встретиться с ним взглядом Дуньке не удалось.

– Стара я, барин, для таких подвигов, – суховато ответила она, берясь за ручку двери. – А вам грех глупости шутить!

– Отчего же глупости? И разве ты стара? Тебе ведь двадцать пять!

– Ну и что – молодуха, скажете?.. По-нашему, по-деревенски-то – перестарок залежалый!

– М-да? Отчего же этого перестарка у меня регулярно сватают?

– Стало быть, заняться дурням нечем! – отрезала Дунька. – А вы меня всё равно никуда не выдадите, потому я вольная! И вовсе не ваша была, а Маняшина!

– Боже упаси, и в мыслях не было, – без улыбки сказал Закатов. – Но разве тебе самой никогда не хотелось?.. Ты так любишь Маняшу... у тебя могли бы быть свои дети.

Дунька ничего не ответила, но взглянула на своего барина так, что Закатов сразу почувствовал себя сморозившим несусветную глупость.

– Дунька, я тебя обидел?

– Много чести – обижаться-то на вас... Да сами-то рассудили б! Коли я в замужество ударюсь, на кого Маняша-то останется? На Парашку, дуру набитую? Аль на вас?!

– Тоже дурака набитого?

Дунька благородно промолчала, но Закатов понял, что оказался весьма близок к истине.

– Я ведь, барин, перед покойницей Настасьей Дмитриевной в ответе за Маняшу-то. Куда ж тут «замуж»? – наконец, ответила она. – Нет уж, вы мне о таком и намёков не стройте... Вот как Маняша замуж соберётся – тогда, может, и я вслед за ней рыскну.

– Постой, – по непроницаемому веснушчатому лицу экономки Никита никак не мог понять – шутит она или говорит серьёзно. – Но ведь тогда ты и в самом деле уже окажешься... м-м... в почтенных годах, и...

– Ай, было б корыто – а свиньи сыщутся! – безмятежно утешила Дунька, выходя из кабинета и оставляя своего барина в глубокой задумчивости.

Через час Александрин сидела на краешке стула в кабинете Закатова. Она была всё так же бледна, но больше не плакала. Большие глаза смотрели на Никиту прямо и серьёзно. Тот чувствовал себя довольно неловко: беседовать с женщинами ему приходилось редко, а уж вести разговоры, подобные этому – и

вовсе никогда.

Однако, надо же было что-то делать.

– Александра Михайловна, я нынче имел разговор с вашим... с господином Казариным. Полагаю, он более не будет вас преследовать. Прав у него на это нет никаких, а если он ещё раз появится здесь, я его вышвырну со двора.

Закатов сказал это всё сухим и почти канцелярским тоном, но бледное лицо Александрин порозовело. Закатов ждал, но она молчала. Помедлив, он продолжал:

– Я думаю, вам стоит подать в суд на Казарина и его...

– Нет! – выкрикнула Александрин, и из глаз её тут же побежали слёзы. – Нет... Господин Закатов, не стоит... не нужно... я не могу...

– Но, дитя моё... Мне кажется, вы должны это сделать. Он обманул вас, воспользовался вашей молодостью и неопытностью, силой удерживал в своём доме, мучил несколько лет! Разве должно это пройти безнаказанным? Ну, не плачьте же. Возьмите вот платок... это не платок? Ну ничего, тоже сгодится.

Он протянул через стол полотенце, ссохшееся в тугой комок, и Александрин безропотно вытерла им нос. Это, впрочем, не помогло: слёзы бежали без остановки.

– Мы можем поговорить обо всём этом позже, – сдался Закатов. – Вы сейчас слишком расстроены и не в состоянии...

– Я настаиваю, господин Закатов, – севшим от слёз, но неожиданно твёрдым голосом перебила его Александрин. – Я не буду подавать в суд. Я не вынесу этого. Посмотрите, я и так пропащий человек. Жизнь моя кончена. Если меня ещё и обольют грязью в казённом заведении... Мне это ничем не поможет, а Алексей Порфирьевич... – всхлипнув, она умолкла. Тихонько высморкавшись в край полотенца, сдавленно выговорила, – Суди его Бог. Ведь он не силой увёз меня из дома. Я уехала с ним сама, по своей воле, слепо ему веря...

– Вы были влюблены, – осторожно напомнил Закатов. – Влюблены и очень молоды, чтобы здраво осмыслить...

Александрин вскинула на него блестящие глаза.

– Да, но... но меня ведь предупреждали... Впрочем, это не имеет уже никакого значения.

– Что ж, как вам будет угодно, – помолчав, с большим сожалением сказал Закатов. – Хотя, видит Бог, наказать такого мерзавца – святое дело!

Александрин посмотрела на него и впервые слабо улыбнулась:

– Вы нынче мчались за ним, как Гераклес с палицей, до самых ворот!

– Как... кто?! – поперхнулся Закатов.

– Это было очень храбро с вашей стороны...

– Никакой храбрости в этом не было, – буркнул он. – Просто, каюсь, вышел из себя. Не каждый день, согласитесь, приходится видеть таких чистокровных подлецов.

– Не каждый день их настигает возмездие, – без улыбки сказала Александрин. – Я вам очень благодарна.

– Глупости. Вы сделаете мне большое одолжение, если забудете об этом, – торопливо и совершенно искренне сказал Закатов. – Меня гораздо более волнует ваше здоровье... и дальнейшая жизнь. Вы напрасно полагаете её конченной. Сколько вам лет, Александра Михайловна?

– Двадцать два.

Закатов невольно улыбнулся. Подумал, что и сам в этом возрасте считал свою жизнь безнадежно конченной. Тут же напомнил себе о том, что он и половины не вынес того, что пришлось на долю этой девочки, покраснел и прежним суховатым тоном сказал:

– Полагаю, вам стоит написать княгине Тоневицкой. Или, если хотите, я сам...

– Господин Закатов, – вдруг перебил его хриплый, страшно изменившийся голос Александрин. – Не подумайте, что я не способна здраво оценить случившееся. Вы в самом деле спасли мою жизнь и... и остаток чести. Вы поступили благородно... и по-христиански... и я бесконечно вам благодарна... Но я не вынесу, если княгине Тоневицкой кто-либо напомнит обо мне! Право, лучше я немедленно покину ваш дом!

Наступило молчание. Закатов смотрел через стол в измученное лицо молодой женщины, ища слова утешения и поддержки – и, как всегда, не находя их. «Господи, Мишку бы сюда! – с горечью подумал он. – Вот он сумел бы... А я... Всю жизнь дураком и медведем был.»

– Александра Михайловна, я, разумеется, не берусь вам советовать... но, мне кажется, княгиня будет рада услышать о вас. Так вышло, что мне немного известна ваша история.

– Вера Николаевна... писала вам обо мне? – безжизненным голосом переспросила Александрин. Её лицо побелело до мертвенной синевы на висках.

Закатов испугался.

– Подробности мне неизвестны, – поспешил заверить он. – Но княгиня упоминала, что она очень огорчена вашим... вашей судьбой и непрестанно винит себя в случившемся. Вы могли бы... Впрочем, я ни на чём не настаиваю, – перебил он сам себя, увидев, с каким отчаянием Александрин уронила лицо в ладони. – Вы вправе сама решать, как поступить.

– В том-то и дело, что я не могу этого, – глухо, не отнимая рук от лица, проговорила она. – Я знаю, что всю свою жизнь делала лишь ошибки и нелепости, знаю, что глупа... но не настолько, чтобы не понять: идти мне некуда и не с чем. У меня нет ни денег, ни даже паспорта. Нет ни одной родной души на свете. Как может жить человек без денег, без дома, без семьи? Я ведь даже места гувернантки не могу искать без рекомендаций...

– Я надеюсь, вы не побрезгуете воспользоваться моим гостеприимством? – осторожно спросил Закатов.

– Я вам очень благодарна, – в который раз повторила Александрин, уронив мокрые от слёз руки на колени. – Но... но... надобно же думать и о будущем...

– Мы подумаем о нём позднее, – серьёзно пообещал Никита. – А сейчас вам нужно отдыхать, кушать и гулять. Буду рад, если всё это вы получите в моём доме.

– Мне очень неловко стеснять вас, Никита Владимирович...

– Не вижу ничего неловкого. Я ведь вам почти родственник, – пошутил Никита, и Александрин вымученно улыбнулась в ответ. – Прошу вас быть здесь на положении... ну, скажем... племянницы или кузины и чувствовать себя как дома. Параша поступает в полное ваше распоряжение. Если в чём-то возникнет нужда, прошу сразу обращаться ко мне или к Дуньке: она у нас тут полководец и всему голова. Вида её грозного не пугайтесь: она очень добра. Если же у вас есть прямо сейчас какая-нибудь просьба ко мне...

– Просьба у меня лишь одна, – чуть слышно сказала Александрин. Она уже казалась спокойной, но из-под её опущенных ресниц бежали и бежали, падая на скомканное полотенце, слёзы. – Молю вас... не пишите обо мне княгине Тоневицкой.

Поздним вечером, в темноте, Закатов мерил шагами усыпанную палым листом дорожку в саду. Сон не шёл. В небе неслись тёмные, рваные облака, из которых то и дело сыпалась ледяная морось. Ветер крутил по дорожке сухие листья, похожие в темноте на пляшущие призраки. Сквозь тучи иногда выглядывала ухмыляющаяся физиономия луны – и тогда голый сад окатывало мертвенно-серым светом, исчерченным тенями и угольно-чёрными, корявыми стволами старых яблонь. Но луна сразу пряталась, и в осеннем саду снова делалось темно, сыро и бесприютно.

Закатов сам не знал, отчего не идёт домой. Давно была уложена набегавшаяся Маняша, давно ушла в отведённую ей комнату Александрин, которую Дунька лично отмыла в бане, – а Никита всё ходил и ходил по промозглому саду, спрятав замёрзшие руки в рукава куртки и передёргивая плечами от холода. Мысли

прыгали с одного на другое. При воспоминании о том, как Казарин подсакивающей курицей нёсся к дрожкам, а он, Никита, этаким Соловьём-Разбойником летел за ним с кулаком на замахе, становилось одновременно и смешно, и грустно.

«Неужели ему с этой его Гранькой-мерзавкой так всё с рук и сойдёт?! Три года издеваться над беззащитной девчонкой, мучить её, вымогать приданое... И ведь даже права никакого на это приданое не имел! Иначе давно бы сам написал Тоневицким и всё до копеечки вытрусил: с такого станется... И что ж теперь – всё ему спустить?» Но, горячась про себя, Закатов знал: никаких последствий это дело иметь не будет. Достаточно было взглянуть на убитое, помертвевшее лицо Александрин, чтобы понять это. Если имя Влоньской начнут трепать в суде, объявят её незаконной женой, по сути – содержанкой... Нет уж, дьявол с ним, с этим курёнком Казариным... Лишь бы он только не появлялся больше здесь. И, с невесёлой усмешкой вспоминая паническое отступление Казарина из Болотеева, Закатов понимал: вернуться сюда у бывшего акцизного чиновника не хватит духу. Да и возвращаться незачем. Будет теперь сидеть в своей Прохоровке и трястись – как бы не оказаться в тюрьме за двоежёнство. И поделом.

Днём прислали почту из уезда: несколько объёмистых свёртков, перетянутых суровой бечевой. Никита сразу догадался, что там – заказанные книги и толстые журналы. В другое время Закатов сразу уселся бы распаковывать их: свежее чтение было для него одной из немногих радостей в болотеевском захолустье. Но нынче он поймал себя на том, что невольно ищет среди свёртков голубой конверт со знакомым косым почерком. Конверта, разумеется, не нашлось: Вера писала к нему редко. Сейчас, шагая по пустой тропинке с жутковато вихрящимися в лунном свете листьями, Никита думал о том, что это, пожалуй, к лучшему. Потому что спроси его Вера о его жизни, о новостях, о событиях в Болотееве – что бы он смог написать ей в ответ? Ей, которой он никогда в жизни не мог солгать даже в письмах?

Разумеется, он дал Александрин слово, что ни слова не напишет княгине Тоневицкой. Как можно было не пообещать, глядя в её полные слёз, угасшие глаза? Но в глубине души Закатов надеялся на то, что, придя в себя, успокоившись и здраво взглянув на положение вещей, Александрин всё же решится обратиться к приёмной матери. В конце концов, у Тоневицких остались её деньги, завещанные покойным отцом, на которые можно было безбедно существовать. И, хорошо зная Веру, Закатов был уверен, что в её доме Александрин не грозят ни попреки, ни скандалы. Вероятно, не было их и

прежде, и Никите оставалось лишь гадать: отчего госпожа Влоньская так отчаянно не хочет возвращаться в семью Тоневицких.

– Барин! Никита Владимирыч!

Он вздрогнул, остановился. Стоящее перед глазами милое лицо Веры тут же исчезло: вокруг опять был голый тёмный сад, луна, выглядывавшая из облачных лохмотьев, и Дунька, решительно шествующая навстречу с фонарём.

– Вы эдак до утра маршировать намеряетесь? – грозно спросила она. – Ночь-полночь, и дож опять начинается! Шли бы с Богом спать! Есть о чём волноваться, право слово! Нешто мы с вами ещё одного человека не прокормим? Смотрела я давеча, как Александра Михайловна кушают: цыпка недельная – и та больше клюёт!

– С чего ты взяла, что я беспокоюсь?

– Хех... – ухмыльнулась Дунька. – Знамо дело, беспокоитесь, коли даже книжки свои, кои из уезда прибыли, не разобрали! Обычно-то на весь вечер с ними усаживаетесь, а нынче... Нешто письма ждали?

– Дунька, тебе следует вытребовать место в шпионском ведомстве.

– Не пишут, стало быть? – проигнорировала шутку Дунька. – Ну, так сами знаете, что до зимы не дождётесь! А из Сибири и вовсе по полгода письма идут, да ещё, не дай бог, заплутают где... Ступайте, барин, домой. Покушайте, книжки свои почитайте. Я вашу горницу натопила, теплышко будет сидеть. Сказано в Писании: будет день, и будет пища! Что по-русски значит: попусту голову мыслями не забивайте! Всё само в свой срок решится, а как решится – так и исполнится. Домой, барин, домой!

Дунька круто развернулась и, не оглядываясь, зашагала к дому. Закатову оставалось только последовать за ней. Луна проводила его до крыльца, а затем нырнула в растрёпанное облако и – погасла.

Наутро Никиту разбудило лошадиное ржание под окном. Он сунул голову под подушку, сквозь сон подумал: «Кто это вывел Ворона, этот дурак разбудит Маняшу...» – и сразу же сел торчком на постели, протирая глаза. Голос своего Ворона, его раскатистое, весёлое и грозное ржание он узнал бы из тысячи и мог бы поклясться на кресте, что сейчас под окном подавал голос не он. «Рабочих, что ли, Кузьма вывел?.. Да на что?!» Но никакие рабочие лошади, эти вечно уставшие, покорные и грустные сивки, не могли ржать так кокетливо и звонко, словно играя серебряными колокольчиками. Наспех одевшись, Закатов выбежал во двор.

У ворот, в серых утренних сумерках, стояла кучка дворовых, в середине которой что-то воодушевлённо вещал Кузьма. Закатов подошёл было к ним – но замер на полушаге, увидев привязанную за колышек забора кобылу. Даже в полумгле он сразу узнал Наяду. Красавицу Наяду из Прохоровки, о которой тайно вздыхал почти полгода, увидев её на грязном, полном навоза и соломы дворе Казариных. Какая могла бы быть пара для Ворона, какое племя пошло бы от этой вороной четы... Но с самого детства Никита умел управляться с собственными несбыточными желаниями, и горделивый образ чёрной как смоль лошадки был безжалостно изгнан из закатовских мыслей и чаяний. Теперь же виновница его терзаний, как ни в чём не бывало, стояла у забора, обжёвывала пожухшие мальвы и надменно косила в сторону взбудораженных конюхов искрящимся глазом. «Белок блестит... – машинально подумал Закатов. – С норовом красавица...»

– Кузьма! Это что такое? Откуда вы взяли эту лошадь? Ты на старости лет в конокрады подался?

Увидев барина, дворовые умолкли и дружно вытолкнули вперёд кучера.

– Извольте видеть, сама взялась, а я не конокрад! – обиженно заявил тот. – Тут, Никита Владимирыч, под утро сущая фанаберия была!

– Фанаберия?.. И я ничего не слышал? И не могли позвать, олухи?

– Так не насмелились будить... И Авдотья Васильевна осерчали бы! А наше ли дело с правительством спорить?

С большим трудом Закатову удалось выяснить, что перед самым рассветом, в густых потёмках, к болотеевской усадьбе подъехал всадник с кобылой в поводу. Ему пришлось довольно долго гроыхать воротным кольцом, пока к нему не вышел заспанный Авдеич. Всадник оказался прохоровским мужиком Степаном, которому барин велел пригнать Няяду в Болотеево и оставить там, поскольку сия Няяда была куплена болотеевским баринном.

– Что?.. – растерянно переспросил Никита, которому всё ещё казалось, что он досматривает ночной сон. – Я – купил Няяду?.. Авдеич, воля твоя, вы оба пьяные, что ли, были со Степаном?!

– Вовсе не были, барин! – обиделся конюх. – С самого Спаса себе не позволяли! И то удивительно, что чуть ли не середь ночи пригнали лошадку-то, – будто и впрямь конокрады какие! Я поначалу и запускать отказывался, потому от вас приказу никакого не было, и не на что нам таковых красавиц покупать... да Стёпка тот пообещал просто под воротами Няяду кинуть! Потому велено ему так было! Да ещё какие-то бумаги за пазухой привёз, велел вашей милости передать...

Закатов молча протянул руку, и Авдеич с почтением вынул из-за ворота зипуна чистый холстинковый свёрток. Внутри оказался дворянский паспорт на имя госпожи Александры Михайловны Влоньской, а также паспорт лошадиный – на кобылу Няяду, чистокровную орловку вороной масти четырёх лет от роду. Последней выпала записка, начертанная неровным мужским почерком, в которой господин Казарин уверял господина Закатова в совершеннейшем к нему почтении и покорнейше просил принять в дар «сию безделицу» со всеми надлежащими документами.

– Принять в дар?.. – спросил Никита у обалдело взиравшей на него дворни... и вдруг разом всё понял. И выругался так, что привыкший ко всему Кузьма даже присел.

– Ах ты... с-с-сукин сын! Да не ты, дурак... Всё-таки додумался! Авдеич! Живо Ворона седлать мне!

Через несколько минут Закатов вылетел со двора верхом, а следом неслась привязанная к седлу Няяда.

Скакать до Прохоровки было неблизко, и, когда Ворон взлетел на последний холм, солнце уже стояло высоко над прозрачным, сквозным лесом и скошенными полями. Внизу была видна покосившаяся казаринская развалюха. Закатов галопом подлетел к имению, осадил коня – и въехал в ворота, мельком удивившись тому, что они с раннего утра распахнуты настезь.

– Позови барина! – велел он выбежавшей навстречу старухе.

– Так нету, кормилец! – удивилась та, щурясь выцветшими, подслеповатыми глазами на Никиту. – Ты, родной, кто будешь-то?

Закатов назвался – и через несколько минут уже знал, что барин и Глафира Прокловна уехали ночью, торопясь «как на пожар», и не сказались куда.

– То есть как – «не сказались»? – растерянно переспросил Закатов. – У господина Казарина это ведь единственное имение, если я не ошибаюсь? Куда же они поехали?

– Не могём знать, ваша милость... Нам никаких распоряжений дадено не было. Только вот и велели лошадку вам отогнать, так Стёпка мой спозаранку управился... А что, неладное что-то с Наядкой-то?

Закатов ошарашенно молчал. Было очевидно, что Казарин попросту сбежал. «Чёрт, вот ведь положение... Что же теперь делать? Оставить Наяду здесь?»

– С голоду подохнет, ваша милость. – уверенно сказал подошедший Степан, и Закатов, вздрогнув от неожиданности, понял, что размышлял вслух. – Овса не боле трёх четвертей осталось, а нового в этом году и не сажали, потому барин всё едино Наядку продавать собирался. Не ко двору нам такая царица, сами изволите видеть... Коли и вам не надобна, продавайте поскорей. Чем же животная виновата, пошто её голодом морить? Ей у нас и так не мёд был, потому уходу за такой красотой не разумеем. И взять её никто из мужиков не согласится... разве что цыганам продать. Нашим-то рабочие лошадки нужны, а эту нешто можно в соху запрягать? Только ногу сломит в борозде, и всё... И то диво, что ноги целы и хвори никакой не прилипло!

– Ты прав, – задумчиво согласился Закатов. И всю обратную дорогу до Болотеева, пустив лошадей шагом, напряжённо думал, как ему теперь поступить. Принимать взятку от мерзавца Казарина он не собирался. Можно было, разумеется, гордо оставить Няяду на казаринском подворье – какое ему, Закатову, дело до того, что чужое имущество подохнет с голоду? Но, оборачиваясь и глядя на Няяду, легко и спокойно ступающую по вязкой дороге, – словно не было двадцати вёрст бешеной скачки, – он отчётливо понимал: оставить на погибель такое существо нельзя.

«Хороший хозяин и собаку дурную на улицу не выгонит – а тут лошадь, красавица, прекрасной стати и масти... да ведь это будет преступление! А разве не преступление – принимать взятки от последнего подлеца?!»

И тут же, споря сам с собой, Закатов думал о том, что принимают взятки по взаимному согласию, а в его случае о согласии и речи не было.

«Не ты ли нёсся вчера за Казариным чуть не с топором, как пьяный мужик за тещей? Возможно, и убил бы, если бы не Дунька... Какая тут взятка?! И Казарин знал, что ты не возьмёшь... иначе не прислал бы Стёпку ночью, после своего бегства... Чёрт знает что... вот как теперь выкручиваться?!»

Домой Закатов прибыл далеко за полдень – и в воротах столкнулся со старостой Прокопом Силиным.

– Слава господу, воротился! – с облегчением встретил своего барина Прокоп Матвеевич. – Только сполоху наделал! Дунька твоя прямо ко мне примчалась: давай, кричит, Прокоп Матвеевич, поезжай, смертоубийство в Прохоровке будет! А я подумал: чего коней зазря гонять... Мать-Богородица, это откуда же чудо такое?!

Закатов не успел ничего ответить – а Силин уже с молодой прытью нырнул под брюхо Няяде и завозился там, вздыхая от восхищения.

– Господи-и... Ножку дай, но-о-ожку, копытечко... Ты ж раскрасавица моя, голубица ерусалимская... Дай бабочки пощупать... А копытца... А коленочки... Ах ты, яхонт драгоценный... Изумруд, сущий изумруд! Как есть адамант-камень!

Закатов тем временем, сидя рядом на корточках, излагал ситуацию. Силин, казалось, и не слушал своего барина, всецело поглощённый осмотром красавицы-кобылы. Но выбравшись из-под брюха Наяды, он убеждённо заявил:

– Круглым дураком будешь, Никита Владимирович, коли в Прохоровку её вернёшь. Нешто она виновата, что хозяин – шельма?

– Но, Прокоп Матвеевич... Она же всё-таки не моя!

– Как же не твоя, когда пачпорт ейный у тебя? – на голубом глазу удивился Прокоп. – Но я вовсе не имею права её брать...

– Постой, Никита Владимирович, – нахмурился староста. – Может, я чего не уразумел, но ты же ведь в суд-то подавать всё едино не намерялся?

– Разумеется, не намерялся... тьфу... не собирался! Госпожа Влоньская прямо запретила мне это, и...

– Ну, и о чём речь тогда? – усмехнулся Силин. – Кабы ты хотел, а опосля сего дарованья передумал, – тогда бы и совеститься можно было. А коли господин Казарин пожелали себе таким макарон соломки подстелить – так вольному воля!

– Ну тебя с твоей соложкой! – выругался Никита... но продолжать не смог, потому что Силин расхохотался – откровенно и весело, блестя белыми, помолодому крепкими зубами:

– Воистину, Бог дураков любит! Не сомневайся, Никита Владимирович, бери кобылку да владай! Ибо сказано: просите – и дастся вам, стучите – и отопрётся! Ты поглянь, как она, бесстыдница, к Ворону тянется! Ну, барин, благодари Бога, – быть у тебя лошадиному заводу!

\* \* \*

– Не хочу вас пугать, Владимир Ксаверьевич, но это всё же дифтерит, – отрывисто сказал Михаил Иверзнев, выйдя из комнаты больной и тщательно прикрыв за собой дверь. – Все симптомы те же, что и в женском остроге. У меня трое ребятшек в лазарете умерло нынешней ночью... Меланья ещё не вернулась?

Тьфу, хоть за смертью её посылай... Владимир Ксаверьич, да держите же себя в руках! Ещё ничего не кон...

– Б-боже мой... Боже... – начальник каторжного завода, неловко ухватившись за край стола, опустился в кресло. – Наташа... Это... невозможно, невозможно! Ей ведь и семнадцать ещё нет... Как же я не хотел, как боялся везти её сюда! Я предчувствовал, знал, что... что добром это не... Михаил Николаевич, у меня ведь никого, кроме неё, больше нет!

– Вы ни в чём не виноваты, – сухо сказал Михаил, останавливаясь у окна. – Дифтерит мог начаться где угодно – и в Иркутске, и в Петербурге. Сюда он пришёл с последней партией, и...

– Но неужто нельзя ничего сделать? Я уже послал в Иркутск за врачом... Ведь и у вас не все умирают в лазарете? – отчаянная надежда звенела в голосе господина Тимаева. Иверзнев пожал плечами:

– Ну... Выжило двое... из семнадцати. Дети все до одного перемерли. Эпидемия, куда деваться... Никакие средства профилактики не помогли. Да ещё и Устиньи нет, как на грех...

– Да будь она проклята, эта ваша Устинья! – визгливым, сорванным голосом завопил вдруг Тимаев. Этот вопль был так не похож на обычный, густой и покровительственный бас начальника, что Иверзнев невольно вздрогнул и отвернулся от созерцания растрёпанного можжевельника за окном. – Вы мне ручались за неё головой – а она сбежала! Вместе со своим мужем-убийцей! Мало мне было неприятностей на заводе, мало пожаров, мало бунта...

– Не было никакого бунта!

– Это вы МНЕ говорите? Мне – который неделю трясся за дочь и едва дождался казаков из Иркутска?!

Иверзнев только поморщился. Но Тимаева уже было не остановить:

– Вы, Михаил Николаевич, развели в своём лазарете сущую разбойничью вольницу! Вы и Лазарев, да-с, которого я, между прочим, вправе уволить! А то и

подвести под суд за организацию побега каторжан! Четверо сбежали, шутка ли! Четверо – осуждённые за бунт, за убийство, за душегубство! Исчезли, как в воду канули! На виду у охраны, у казаков, у вас! Только не говорите мне, что ничего об этом не знали!

Иверзнев молчал, глядя в стену и сдвинув густые чёрные брови. Было очевидно, что он думает сейчас совсем о других вещах. Но Тимаев ничего не замечал:

– И у вас хватает совести!.. Хватает нахальства говорить мне, что будь здесь Устинья – и эпидемии бы не было! Да кто такая была эта Устинья?! Ваша фаворитка, с которой вы жили, не обращая внимания на её мужа, – и покровительствовали им обоим вовсю! А она плевать хотела и на вашу страсть, и на ваше покровительство!

– Вы напугаете Наталью Владимировну, – ровным голосом сказал Иверзнев. – У вас истерика, возьмите себя в руки!

– Да-с, плевать! И стоило мне проявить строгость – она сбежала! Не захотелось, видите ли, мерзавке, ходить в кандалах, как полагается по закону! И её муженьку тоже! И прочим, которые...

Тр-р-рах! Могучий удар кулака обрушился на столешницу, и по полированной поверхности зазмеилась трещина. Тимаев, икнув, умолк на полуслове, отпрянул. Прямо перед ним оказались сумрачные чёрные глаза. Смуглое, окаменевшее от бешенства лицо.

– Осмелюсь напомнить, МИЛОСТИВЫЙ ГОСУДАРЬ, что побег этот целиком на вашей совести! Что это вам приспичило тискать невесту Антипа! Да-да, ту самую Василису, которую вы заставляли у вас в доме «мыть полы»! Ту самую Василису, которую мы с Устей полгода лечили от тяжёлой болезни, от помешательства! И не смели надеяться на успех!

– Да как вы смеете... щенок! Я вас...

– Смею!!! – загремел Иверзнев. – Неужто вы думаете, что я вас боюсь?! Неужто вы полагаете, что я оказался бы здесь, в Сибири, у чёрта на рогах, если бы боялся вот таких... слуг отечества?! Всё, на что вы способны, – издеваться над беспомощными людьми! Мучить беззащитную девчонку в кандалах! Делать

невыносимым положение людей, которым и без вас тяжело! Бунт, вы говорите?! Да ваше счастье, что Лазарев и Кострома мужиков тогда в остроге остановили! Здесь на триста каторжников – полтора десятка казаков! Да рота инвалидов, из которых песок сыплется! К утру от завода остались бы угольки, а от вас – мокрое место! А каторжане рассыпались бы по тайге и – поминай как звали! Люди доведены были вашими «строгостями» до крайности! А ведь здешний народ ко всему привычен! Так что это по вашей милости братья Силины с завода урвались! Вместе со своими бабами! А мне без Устиньи как без рук! Эпидемия, чёрт возьми, дифтерит, дети мрут, а вы... Вы! С-с-сукин вы сын, свинья тупорылая, каналья! Морду бы я вам разбил без всякой субординации, кабы это имело пользу! За Устинью! За Василису! За Силиных! За мужиков в остроге!!!

– Михайла Николаевич, родненький... Помилуйте...

Жалобный писк, раздавшийся с порога, заставил Иверзнева замолчать. Тяжело дыша, он выпрямился. Повернулся. В дверях стояла Меланья – фельдшерица из заводского лазарета. К своему животу, уже заметно округлившемуся в последний месяц, она прижимала полотняную сумку. Карие глаза Меланьи были огромными от ужаса. Из-за плеча фельдшерицы виднелось ошарашенное лицо Лазарева – заводского инженера.

– Мишка, ты рехнулся?.. В виннице было слышно, как ты орёшь!

– У Натальи Владимировны дифтерит, – хриплым голосом отозвался Михаил, растирая разбитый кулак. – Меланья, перестань трястись... мы просто погорячились в разговоре с Владимиром Ксаверьичем. Ты принесла то, что я просил? Очень хорошо. Возьми ещё миску в кухне и водки, скажи – я велел. И – вон отсюда немедленно! Сколько раз я тебе говорил не подходить к дифтеритным? – он шагнул к двери в спальню.

– П-позвольте, что вы намерены делать? – опомнился Тимаев. – Господин Иверзнев, куда вы?

Михаил остановился на пороге. Обернувшись, смерил начальника завода чёрными, ещё не остывшими от ярости глазами.

– Отсасывать плёнки, разумеется! И следует торопиться, иначе Наталья Владимировна начнёт задыхаться – и тогда я уже ни за что не поручусь!

Позвольте.

– Но... как же... – Тимаев мучительно искал слова. – Как же вы так рискуете... Ведь вы сами... вы ведь можете заразиться, не так ли?

– До сих пор, как видите, жив, – сухо заметил Михаил. – Попрошу меня не задерживать. Речь идёт о жизни вашей дочери.

– Но... Но... зачем же вам, право, самому трудиться? Пусть хоть вот Меланья... она же обучена?..

– Что?.. – на миг растерялся Иверзнев. – Меланья?..

– Разумеется! Она же ваша фельдшерица! Пусть она удалит у Наташи эти самые плёнки и...

– Осмелюсь напомнить, что врач здесь я, – тихим от бешенства голосом перебил его Иверзнев. – И именно я обязан рисковать в случае лечебной необходимости. А Меланья – молодая женщина, которая ждёт ребёнка, чёрт возьми! Ей вообще нельзя входить к заразным! Господин Тимаев, у вас есть хоть зачаточное представление о совести?! Меланья, отдай инструмент, и – вон отсюда! Вася, уведи её!

Он рывком открыл дверь в спальню и шагнул внутрь. Хлопнула дверь, и наступила тишина.

Время тянулось медленно. Солнечный луч ушёл из комнаты, и потёртые штофные обои сразу потускнели. Меланья никуда не ушла, а села на пороге, нервно перебирая в своей сумке снадобья, – пока не извлекла склянку тёмного стекла. Она держала её наготове, не сводя взгляда с запертой двери. Лазарев стоял рядом с ней, занимая своей огромной фигурой весь проход. Они о чём-то тихо переговаривались, не обращая никакого внимания на Тимаева, который, впрочем, тоже словно не замечал посторонних людей в своём кабинете. Он сидел в кресле, отвернувшись к окну. Рука его судорожно сжимала и разжимала потёртый подлокотник. Когда полчаса спустя дверь открылась и Иверзнев, держа в руках миску, вышел из комнаты, Тимаев хотел вскочить ему навстречу, но получилось неловко, и он сразу же плюхнулся назад.

– Что... там? Что Наташа?.. – севшим от волнения голосом спросил он. Иверзнев, не отвечая, бросил вскочившей Меланье:

– Синюху! – тёмная склянка мгновенно оказалась у него в руках, и Михаил одним духом опрокинул её в рот. Проглотил, поморщился, фыркнул. – Камнеломку! И чашку чистой воды!

Меланья мгновенно вытащила из сумки вторую бутылочку, и вместе с ней Иверзнев вновь исчез в комнате. Тимаев напряжённо, испуганно посмотрел на Лазарева. Инженер только пожал плечами. Вскочив из кресла, начальник завода принялся ходить вдоль стены. Его сухое, птичье лицо исказилось нервной, мучительной гримасой.

Вскоре Иверзнев вернулся, неся пустую чашку, и Тимаев остановился у стены.

– Так что же, Михаил Николаевич? Что Наташа? Всё?..

– Господь с вами... – поморщился Михаил. – Плёнки я удалил, так что асфиксии, по крайней мере, не будет. Посмотрим, как пройдёт ночь. Жар я сбил, Наталью Владимировну необходимо обтереть. А далее... просто будем ждать. И каждый час давать настой камнеломки: это единственное, что может помочь. Разумеется, в том случае, если форма болезни – лёгкая. Дифтерит – штука мерзкая, но я сделал всё, что мог. С вашего позволения, господин Тимаев, я вернусь в лазарет. У меня там дел по горло.

– Но... как же вы уйдёте? – привстав, испуганно спросил Тимаев. – Михаил Николаевич, это же невозможно! Наташе может стать хуже!

– Если станет хуже – пошлёте за мной горничную, и я буду здесь через десять минут! – жёстко перебил его Михаил. – Осмелюсь напомнить, что у меня полный лазарет больных! Тем же самым дифтеритом!

– Но... как же вы можете сравнивать?! – сорвался Тимаев. – Михаил Николаевич, не думайте, что я не благодарен вам... за спасение дочери...

– О спасении, к сожалению, ещё рано говорить.

– Но вы так рисковали... И всё же я не понимаю вас! Никак не могу понять! – на начальника завода отразилась вся мучительность этого непонимания. – Вы – столбовой дворянин, из известной семьи! В университете обучались! И стараетесь убедить меня, что не видите разницы между благородной барышней и каторжным отребьем?!

– Не вижу, право, ни малейшей, – спокойно и холодно ответил Иверзнев. Повернулся и, не прощаясь, вышел. Тимаев проводил его растерянным взглядом. Взявшись пальцами за голову, пробормотал:

– Немыслимо... Все походили с ума... Все!

Но комнату уже была пуста, и посочувствовать начальнику завода было некому.

– Мишка, ты, ей-богу, с ума сошёл. – взволнованно говорил Лазарев, растапливая самовар в сенях. В крошечной комнате при лазарете, которую занимал доктор Иверзнев, было довольно чисто, пахло сухими травами и камфарой. Сейчас же в этот привычный запах вмешивалась резкая струя спиртного духа. стакан водки, наполненный доверху, стоял на столе, и Михаил, вешая на гвоздь в стене куртку, с отвращением на него косился. Лазарев перехватил этот взгляд.

– Миша, надо! Давай-давай, пей до дна, водка хорошая... Авось, выжжет в тебе этот дифтерит!

– Если пробрался, подлец, так уже не выжечь, – невнятно отозвался Михаил, с отвращением отпивая водку, как чай, из гранёного стакана. – Ну тебя, Васька... зачем я только согласился? И пить ведь совсем не умею! Сейчас пьяным буду, а у меня ещё дела...

– Как я пойму, если ты всё же заразился? – напряжённо спросил инженер.

– Я раньше тебя пойму, – усмехнулся Иверзнев. – Ничего метафизического. Уже к утру всё будет ясно. Сначала жар поднимется, затем – приступы удушья, а там уже... и всё. От Тимаева не приходили?

– Нет. Малаша пошла туда.

Иверзнев нахмурился, но ничего не сказал. Прошёлся по комнате, посмотрел в окно, распахнутое в чёрную, по-осеннему непроглядную ночь. Вдали, тронутые лунным светом, мутно темнели вершины таёжных кедров. Над ними, чуть подёрнутые седыми прядями ночных облаков, поблёскивали холодные звёзды. Глядя на них, Иверзнев вполголоса спросил:

– Как думаешь, Вася, они ведь уже далеко?

– Конечно, далеко. – сразу же отозвался из-за самовара Лазарев. – Они ведь ушли в августе. А сейчас октябрь на носу. Значит...

– Месяц и семнадцать дней.

– Ну, вот и посчитай сам. Даже если делать в день по двадцать вёрст...

– У них младенец на руках. И Петьке всего тринадцать.

– Ну, пусть даже по пятнадцать. Всё равно они уже вёрст семьсот отмахали. И, если их не поймали сразу, то теперь уж не схватят тем более.

– В тайге уже волки воют, – тихо сказал Иверзнев. – В стаи сбиваются... Скоро зима. Где они собираются её пережить?

Лазарев не ответил, да Михаил и не ждал ответа. Отойдя от окна, он принялся перебирать бумаги в ящике. Наконец, на стол шлёпнулась разбухшая тетрадь и несколько исписанных листов.

– Вася, я до завтра ведь могу и не дожить. Так что, в случае... летальности вот эту тетрадь и бумаги перешли, пожалуйста, моей сестре. Адрес напишу здесь. Ты – человек вольный, твою корреспонденцию не проверяют, так что...

– Не беспокойся об этом, – как можно сдержаннее ответил Лазарев. Но его светлые, как у волка, глаза с чёрной точкой зрачка всматривались в лицо друга напряжённо, взволнованно. – Ужинать будешь? Нет? Давай хоть чаю... Мне мёду принесли в сотах, выдающаяся штука!

– Чаю выпью, пожалуй, – медленно, словно думая о другом, отозвался Михаил. Он снова отошёл к окну, повернувшись к другу спиной, – и Лазарев не выдержал:

– Миша, ты... что-то чувствуешь? Тебе нехорошо?

– Что?.. Да нет, пока ничего особого, – нехотя отозвался Иверзнев. – И не вижу, извини, смысла всю ночь к себе прислушиваться. Коли помру – не ошибёмся ведь, не так ли? Тьфу, будь проклята эта водка твоя... Я её и на войне-то не пил! С непривычки теперь голова будто чужая.

– Потому что ты ничего не ел целый день! Тут с напёрстка окосеешь... – буркнул Лазарев, копаясь на полках и стараясь ворчливым тоном скрыть своё смятение. – Миша, у тебя же холодная оленина есть! И хлеб вон... Давай поужинаем, а после – чаю с мёдом! И ляжешь, наконец, спать! В палатах храпят давно...

– Не могу, надо приготовить ещё камнеломку. Если Наташа эту ночь переживёт, то ей нужно будет пить отвар. Какое счастье, что Устинья успела научить меня! Вот ты не поверишь, и я сам никогда не знал, – а у нас ведь по деревням этот проклятый дифтерит лечат! Лечат неграмотные бабки своими травками!

– Право? – удивился Лазарев. – Ну, а плёнки-то?..

– Отсасывают так же, как я делал два часа назад! Риск, конечно, велик, и всякое бывает... Но моя Устя мне когда-то рассказывала о своей бабке... она её вообще часто вспоминала... если судить по Устиным словам, то бабка эта была суший профессор медицины, и моя Устинья...

– Ты ведь был влюблён в неё, Миша? – вдруг перебил Лазарев. Михаил умолк на полуслове. Повернулся. Чёрные глаза испытующе взглянули в лицо друга.

– Что ж... Нет смысла скрывать, – без улыбки отозвался он.

– Она знала?

– Разумеется.

– А Ефим?

– Полагаю, да.

– Хм-м... Как же ты, однако, жив остался? Ефим ревнивый, как сто чертей!

Иверзнев криво, нехорошо усмехнулся. Лазарев ждал, но друг больше так ничего и не сказал. Он молча глядел в открытое окно, за которым всё так же блестела холодная осенняя луна.

– Если бы только знать... – наконец, вполголоса сказал Иверзнев. – Если бы только знать наверное... что они выбрались, дошли... Что в её жизни не будет больше ни неволи, ни кандалов, ни издевательств и муки... Если бы я мог знать! Клянусь, я со спокойной душой отправился бы на тот свет и ни минуты об этом не пожалел!

– Я уверен, что они выбрались, – как можно убедительней сказал Лазарев. – Чтобы братья Силины – и не прорвались?! Я с ними несколько лет по тайге проходил, знаю, на что эти медведи способны! Бабы у них здоровы, молоды, на ноги легки... Ты же мне сам рассказывал, как твоя... как Устинья шла босиком по лесам из Смоленска в Москву целую осень! Стало быть, не впервой?

– Ну, смоленский лес – это тебе не тайга с буреломом и медведями!

– Послушай, но если бы их взяли, то давным-давно вернули бы на завод! Ты ведь и сам знаешь!

– Знаю. Но они обещали известить, когда...

– Миша! Они до сих пор находятся в тайге! И прячутся! Какие вести?! Напротив, надо радоваться тому, что новостей нет! Стало быть, всё благополучно! Просто надо ждать и...

– Разумеется, – устало перебил его Иверзнев. – Прости, что говорю об этом. Верно, я совсем пьян. Где там эта оленина? И как я мог про неё забыть... Ещё ничем нехорошим не пахнет? Мне только поноса не хватало...

Некоторое время они молча, сосредоточенно жевали. В комнате было тихо, лишь поскрипывал за печью сверчок. Луна ушла из окна, сделалось совсем темно, и

Лазарев зажёл свечу.

Иверзнев ходил в лазарет, через полчаса вернулся.

– Тихо, все спят. Знаешь, не хочу радоваться заранее – но, кажется, эпидемия пошла на спад. Будем надеяться, что больше никто не умрёт. И так в женском остроге по детям четвёртый день воют... Меланья не возвращалась?

Лазарев пожал плечами. Вполголоса спросил:

– Как ты думаешь, Наташа не...

– Ничего пока не могу сказать. Завтра будет видно. Будет страшно жаль, если эта девушка умрёт. Она замечательная. И совершенно не похожа на своего папеньку, будь он неладен... Надо было попросту не пускать Наташу в лазарет! Ведь она там эту заразу и подхватила!

– Однако, ты не стеснялся нынче в выражениях, когда с Тимаевым ругался! Он, по-моему, был даже всерьёз напуган...

– Напрасно это было всё, – Иверзнев опустился на старый табурет, жалобно заскрипевший под ним. – Господин Тимаев – существо непробиваемое. Верный слуга закона и «Уложения о наказаниях». Того, что не согласуется с его представлениями о сущем, он попросту не слышит. И во всей моей тираде он обнаружил лишь грубое нарушение субординации. Слава Богу, что мне на него плевать, а терять нечего. Всё уже давным-давно потеряно. Знаешь... даже как-то помирать не страшно. Обидно, право...

– Мишка, не смей! – гневно перебил Лазарев. – Не ты ли совсем недавно громил меня за упадническое настроение и уверял, что у нас на заводе полно таких, которым в тыщу раз хуже приходится, чем нам? Ишь чего – помирать вздумал! А больничку на кого? На мою Малашу? Так ей скоро рожать, знаешь ли!

– Да, ты прав... прав, конечно, – голос Иверзнева звучал всё глуше, голова падала, и он с трудом заставлял себя смотреть на друга. – Просто... чёрт, глупо даже и говорить о таком, но... Я и сам не знал, насколько, оказывается, это было для меня важно. Устинья, понимаешь... Она ведь никогда в жизни меня...

Любила этого своего разбойника Ефима – насмерть, как проклятая, непонятно за что! Чёрт, ведь помирать буду – не пойму, что она в нём нашла! Ты его рожу видел?! Впрочем, что ж я спрашиваю... Да даже если и без рожи!.. Атаман с большой дороги, и более ничего! Но Устинья... как приворожённая к нему... Разумеется, мне рассчитывать было не на что. Я и не пытался. Но... Понимаешь, я входил утром в лазарет, – а она уже там возилась. И можно было дальше жить, и работать, и не спать ночами, и ругаться с начальством... Всё можно было! Вечером уже с ног валишься, в глазах – зелень в крапинку, кажется – помрёшь вот-вот... а Устинья сидит за столом, пишет свою «тетрадию», спрашивает, через «есть» или «ять» слово «леший» пишется... а глаза у неё меняют цвет... Я такого никогда раньше не видел: серые-серые – и вдруг синие! И, право, как-то легче делалось! Ложился спать, знал, что наутро снова её увижу – и никакой молитвы не надо было! А теперь... теперь что ж... Теперь впору только...

Договорить Иверзнев не сумел. Невнятная речь сменилась густым, ровным храпом. Лазарев встал. Залпом допил водку из своего стакана, подцепил с тарелки последний кусок оленины. Осторожно ступая по половицам, подошёл к уснувшему доктору, потрогал его лоб. Долго стоял рядом, вслушиваясь в дыхание. Затем вздохнул, дунул на оплывшую свечу и опустился напротив на деревянный, потёртый диван. Мельком подумал: «Надо хоть окно прикрыть...» – и тут же уснул тоже. Через минуту тишину в комнате нарушали только раскаты храпа. Лунный луч стекал по подоконнику, скользил на пол, понемногу таял: близился рассвет.

– Михайла Николаевич! Доктор, миленький! Да проснитесь же!

– Что... что стряслось? – Иверзнев с трудом поднял тяжёлую, словно чугуном налитую голову со столешницы. В лицо ему ударил сноп солнечного света. В комнате было невыносимо холодно. Доктор зажмурился, передёрнул плечами. Несколько минут сидел неподвижно, приходя в себя. Затем, морщась от ломоты в висках, повернулся. Увидел недоверчивое, радостное лицо Лазарева. Убеждённо сказал:

– Васька, ты просто ирод. Какого чёрта ты меня напоил вчера? Башка пополам раскалывается! Меланья, чего ты вопишь?..

Фельдшерица не успела ответить – а Иверзнев уже вспомнил вчерашний день. И вскочил, опрокинув табурет:

– Что... Господи, что? Наташа?!

– Живы барышня-то! – Меланья улыбалась во весь рот. – Живы, и жара нет! Лежат спят, и таковы спокойные, будто и не задыхались вчера! Просто радости не хватает! Вы-то, господа, вы-то как себя чувствуете?!

– Миша, и в самом деле, – как ты? – напряжённо спросил Лазарев. – Я, подлец, даже ни разу за ночь не подошёл к тебе! Спал, как убитый!

– И я спал, – Иверзнев пожал плечами. – Как будто всё благополучно. Голова только трещит... Где вода? Давай сюда... фу-у-у, хорошо... Меланья, ты была в лазарете, как там? Чёрт возьми, который уже час?! Это что же... Мы что – до полудня спали? Ну, знаешь, Васька!..

– Сон – лучшее лекарство, ты сам говорил! – радостно напомнил инженер. – Мишка, ты и впрямь заговорённый! Ничего тебя не берёт, никакая эпидемия и никакой дифтерит! Верно, твоя Устинья перед уходом тебя накрепко зашептала?

– Может, и так, – вздохнув, согласился Иверзнев. – Вася, я вчера, кажется, спьяну много лишнего наговорил?

– В самом деле?.. – Лазарев зевнул, крепко, с хрустом потянулся. – Ничегошеньки, право, не помню... Сам был жестоко пьян. Но ты в самом деле хорошо себя чувствуешь?

– Как видишь, – усмехнулся Михаил, продолжая с жадностью глотать холодную воду из ковша. – Никакая зараза не липнет! Если вернусь в Москву – напишу диссертацию о народных методах лечения дифтерита... А что это за топот в сенях? С завода, что ли, кто-то принёсся? Ведь я же и утренний обход проспал, вот позорище-то... Малаша, будь добра, спроси, кто там...

Но Меланья даже не успела подойти к двери: та распахнулась, с силой ударив по стене, и в комнату ворвался Тимаев – небритый, с красными от недосыпа глазами, в расстёгнутом, кое-как наброшенном кителе:

– Михаил Николаевич! Голубчик вы мой, спасибо! Наташа... Наташа жива! Я вам так благодарен, я... я преклоняюсь перед вашей жертвой! Вы ведь рисковали жизнью, здоровьем! Позвольте вам руку пожать... просто обнять, как благодарный отец! У меня ведь одна дочь, одна Наташа... И если бы не вы...

– Вздор какой! – буркнул Иверзнев, неловко уклоняясь от объятий начальника завода и стараясь дышать в сторону. – Я, разумеется, счастлив, что Наталья Владимировна выдержала кризис... но я просто выполнял свой долг! Как врач и... Владимир Ксаверьич, да что вы, ей-богу! Перестаньте... Сядьте, успокойтесь, я вам сейчас лавровишневых накапаю!

Меланья тем временем ловко и незаметно убрала со стола пустую бутылку и стаканы. Вместо них на скатерти появился пузырёк с успокоительным средством, которое Иверзнев принялся капать в рюмку. Лазарев сосредоточенно наблюдал за его действиями. Тимаев стоял у окна, повернувшись ко всем спиной, и до Михаила доносилось только его прерывистое, тяжёлое дыхание.

– Выпейте, Владимир Ксаверьевич. Это хорошее средство.

– Б-благодарю, – Тимаев неловко принял из рук Иверзнева гранёный стакан с мутноватым содержимым. Медленно, словно капли были горячими, принялся отхлёбывать. Михаил наблюдал за ним со странной для себя самого смесью жалости и отвращения. Понимая, что через несколько минут ему снова нужно будет заговорить с этим человеком, чувствовал, что не знает, как это сделать.

Проблему эту решил сам Тимаев, допив, наконец, успокоительное и с жаром сказав:

– Михаил Николаевич! Прошу вас предать забвению наш последний разговор и всё, что было сказано! Я, со своей стороны, уже всё забыл! В знак глубочайшей моей благодарности я готов написать вам наилестнейшую характеристику и убедить в том же господина полицмейстера! Надеюсь, вам это поможет при возвращении в Москву. Вы ведь этой зимой уже покидаете нас?

– Право, не уверен, – отстранённым голосом сказал Иверзнев.

– Как? – изумился Тимаев. – У вас есть причины оставаться?

– Вы ведь не выгоните меня из заводского лазарета?

– Что вы... Что вы! Как можно, как вы подумать могли?! Я ваш должник до гроба, и если вы намерены остаться... Но, воля ваша, никак не могу вас понять! Ваша ссылка заканчивается, вы можете вернуться в Москву... Я уверен, вам даже позволят восстановиться в университете: фамилия Иверзневых что-нибудь да значит! Я, признаться, не понимаю, как вам вообще позволили оказаться тут! Безусловно, всю эту студенческую фронду следовало пресечь на корню, но вы... Вы же были тогда слишком молоды, слишком неопытны! Я убеждён, что вас втянули в заговор против вашей воли, как младенца! И неужто ваши братья не могли... Я ведь по долгу службы был знаком с полковником Иверзневым! К нему многие прислушивались в Генеральном штабе! Неужто Александр Николаевич не мог употребить...

– Саша тогда сделал всё возможное, – сухо перебил Иверзнев. – Но, поскольку моё участие в «студенческой фронде» было вообще не младенческим, то Генеральный штаб умыл руки. И сейчас я очень благодарен ему за это.

Тимаев только всплеснул руками и воздел плечи. Лазарев беззвучно смеялся, отвернувшись к окну.

– Впрочем, если вы намерены остаться, то... Неужто вы в самом деле не шутите?! Вам ведь, кажется, тридцать два года? Смешно, пустяк... Похоронить себя, свою молодость в каторжном лазарете?!

– Мне кажется, здесь во мне больше необходимости, – отрывисто сказал Иверзнев. – Господин Тимаев, у меня к вам небольшая просьба.

– Разумеется! Разумеется! Всё, что в моих силах!

– Дело в том, что я сейчас снова оказался без фельдшерниц. Устиньи нет, Меланью в лазарет более допускать нельзя. И так во время этой эпидемии мы страшно рисковали...

– Рисковали? – не понял Тимаев.

– Меланья ждёт ребёнка, – сквозь зубы напомнил Иверзнев. – А в лазарете – эпидемия, инфекции... Не хватало только, чтобы она заразилась! Нет, ей более не место у меня – а мне всё же кто-то нужен. На днях, как мне сказали, прибыли с Акатуя какие-то поляки...

– Да, трое, – Тимаев наморщил лоб, вспоминая. – Ячинский, Хлудич и, кажется, Стрежинский. Вы знакомы с ними?

– Не имел чести. Но мне рассказали, что они – студенты медицинской академии. Не могу ли я просить, чтобы их направили ко мне?

– Что ж, забирайте, – пожал плечами Тимаев. – Завтра же пришлю их вам. И, надеюсь, вы зайдёте к нам нынче?

– Разумеется. Нужно осмотреть Наталью Владимировну. Опасность ещё есть, и главное – её не пропустить. Кроме того...

– Так я жду, непременно жду вас этим вечером! Буду очень рад! И не стану более вас задерживать, вижу, что торопитесь, сам спешу... До вечера, Михаил Николаевич!

Иверзнев молча поклонился. Тимаев шагнул мимо него в сени. Следом вышел инженер.

– Вы на завод, Василий Петрович? – любезно спросил Тимаев. – Пойдёмте вместе!

– Позже, – так же любезно отозвался Лазарев. Его загорелое дочерна лицо казалось совершенно безмятежным. Светлые волчьи глаза смотрели через плечо начальника завода на заводские крыши. – Я хотел только предупредить вас об одной безделице.

– Я весь внимание!

– Вы можете сколько угодно забавляться с моей законной супругой, ежели ей и вам это приятно. Мне на это решительно наплевать. Но если вы, сударь, ещё хоть раз заикнётесь о том, что моя беременная Малаша должна входить в дифтеритные палаты – я вас убью.

Начальник завода замер, поражённый. Лазарев аккуратно обошёл его, вежливо поклонился – и, не оглядываясь, сбежал с крыльца в седой осенний туман.

– Ну что ж, Наталья Владимировна... Вы просто молодец! Пульс в порядке, жара нет, гортань и миндалины – выше всяческих похвал... Как наша Меланья говорит – хоть за деньги показывай! Думаю, опасность и в самом деле миновала. Теперь вам только вылежать в постели, побольше чаю и морса ягодного. Настой принесёт Меланья и научит, как пить... А скоро и снег ляжет, будете всю на лошадах кататься!

– Я не умею ездить верхом, – со вздохом призналась Наташа Тимаева. Она сидела в постели, опираясь на огромную подушку, и смотрела на Иверзнева ясными, прозрачно-голубыми глазами, под которыми ещё лежали тени. На осунувшемся за время болезни лице явно обозначилась россыпь веснушек. Светлые, льняные, как у крестьянских ребятишек, волосы Наташи были заплетены в небрежную косу, что окончательно делало мадемуазель Тимаеву похожей на деревенскую девушку. «Колокольчики мои, цветики степные! Что глядите на меня, тёмно-голубые?» – почему-то вспомнилось Иверзнову. Выругав себя мысленно за неуместно романтическое настроение, Михаил сурово сдвинул брови и принялся собирать полупустые склянки со столика возле постели больной.

– Вот это вовсе уже не надобно... И это... А здесь и полпузырька не осталось, только выбросить! Да вовсе можно всё выбросить! Морсу из брусники побольше наварить и... Наталья Владимировна, почему вы так на меня смотрите?

– Михаил Николаевич... Мне ведь можно вам сказать? Я... я восхищаюсь вами! Я никогда прежде не встречала таких... таких... таких людей... вот!

«Только этого не хватало!» – ошеломлённо подумал Иверзнев. Вслух же ворчливо заметил:

– Наташа, вам кто-то обо мне ненужных вещей наговорил. Подозреваю, что папенька ваш.

– Нетрудно было это понять и без папеньки! – слабо улыбнулась Наташа. – Вы спасли меня... и ещё кучу других людей в лазарете! Меланья рассказывала мне,

как вы сражались за каждого...

– Ох уж мне Меланья... Натали, поверьте, она сама делала бы то же самое, если бы я её допустил! И Устинья делала, если бы она тут была, и Васёна... Это обычный врачебный долг, а не воинский подвиг во славу отечества! Не о чем и панегирики складывать, право.

– Я могу ошибаться, – задумчиво сказала Наташа, – Но мне кажется, воинские подвиги случаются реже... и пользы от них меньше. Ну подумаешь, со знаменем в руках бежать на врага или стрелять из пушки! Наверное, очень страшно, да... Но знать, что можешь заразиться смертельной болезнью и всё равно каждый день входить к больным, и отсасывать эти плёнки... и каждый миг прислушиваться к себе – не заразился ли ещё? – и на другой день всё то же самое... Ведь со знаменем и пушками не бегают каждый день: иначе какой бы это был подвиг? А вы в лазарете ежечасно рискуете...

– Да отчего же «ежечасно»-то, Наташа?! – взмолился вконец сконфуженный Иверзнев, отчаянно жалея, что не прислал вместо себя Меланью. Решил, болван, светские приличия соблюсти... – Это же первая эпидемия за четыре года! До этого больше с обморожениями, ожогами да надорванными животами возились! Куда какой риск – нашим жиганам пузыри постным маслом смазывать! У вас слишком богатое воображение, честное слово... Скажите лучше, вам не скучно так лежать целыми днями?

– Ужасно скучно, вы правы, – подтвердила Наташа, спокойно и весело глядя на смущённого доктора. – Папенька не разрешает читать, говорит, что я быстро утомлюсь...

– Напрасно. Я сам поговорю с Владимиром Ксаверьевичем. Безусловно, незачем Бунзена штудировать, это чтение ни капли не занимательно... а Загоскина с Ростопчиной отчего бы не почитать? Хотите, принесу вам журналов? У меня, кстати, валяются «Современника» восемь номеров, – старых-престарых, правда, – так в них есть довольно увлекательный роман «Мёртвое озеро»! Вам может понравиться. Вообразите, главная героиня – цыганка, а вы ведь давно проявляли интерес...

– Буду вам очень благодарна, Михаил Николаевич, – улыбнулась Наташа. – И... заходите ко мне, почаще, пожалуйста. Конечно, если найдёте время. Меня папа

больше ни за что не отпустит в ваш лазарет. Говорит, что сам чуть не умер в эти дни и половину сердца из-за меня потерял, и, конечно же, теперь...

– Господина Тимаева можно понять, – дипломатично заметил Михаил. – Лазарет во время эпидемии в самом деле поле боя напоминает... и вас вот ранило шальной пулей. Слава Богу, не насмерть. Так что – постельный режим, храбрый боец, брусничный морс, пастила из Иркутска, – и вскоре на ногах будете! Это у вас Мицкевич лежит?

– Что?.. Ах, да. Подарок подруги из Варшавы, – Наташа взяла со столика и протянула Иверзневу тоненькую книжку стихов.

– Вы читаете по-польски?! – изумился Иверзнев, бегло перелистав потёртые страницы.

– Не очень хорошо, – словно извиняясь, сказала Наташа. – Разговаривать мне гораздо легче. Дело в том, что моя бабушка по матери была урождённая Казиньская. Я у неё воспитывалась до института, и мы с нею между собой говорили только по-польски. Папа, помню, страшно сердился: боялся, что я вредных идей нахватаясь. А у меня, как на грех, отличная память! А потом ещё в институте я познакомилась с Вандой Сливицкой. Она – полячка, из Варшавы, и как только узнала, что я знаю польский и сочувствую... Мы с ней друг в дружку вцепились и до самого выпуска были неразлучны! Эта книжка Мицкевича – подарок от Ванды перед выпуском, её собственная, она ею очень дорожила.

– Так вы, Наталья Владимировна, сочувствуете положению поляков? – Михаил заинтересованно присел на стул у постели. – И как же ваш папенька к этому относится?

– Папенька, слава богу, ничего не знает, – улыбнулась Наташа. – Ему и в голову не приходит, что я настолько неблагонадёжна. Но ведь любой разумный человек в России не может равнодушно смотреть на страдания Польши, – не так ли? А Ванда – настоящая патриотка своей страны! Я знаю, как она мечтает в день восстания быть в первых рядах, под флагом с Белым Орлом, вместе со своими братьями и супругом! Она прислала мне такие стихи, что я ночь не спала – плакала над ними! Вот, послушайте... Только я буду читать шёпотом, потому что всё это ведь запрещено!

Иверзнев невольно улыбнулся, но поспешно погасил усмешку, видя, какими серьёзными стали глаза девушки. Вынув из книжки Мицкевича исписанный мелким почерком листок розовой бумаги, она негромко начала читать:

– Когда ж ты, о Господи, нашу услышишь мольбу

И дашь воскресенье из гроба неволи?

Уж мера страданий исполнилась в нашем гробу,

И жертвы, и смерть уж не страшны нам боле!

Мы пойдём на штыки, на ножи палачей, —

Но только свободу, отдай нам свободу!

Ведь наши отцы в багрянице из крови своей

Твой крест защищали в былую невзгону...

Какие смелые эти польки, как они гордятся своими мужчинами! – серьёзно скала Наташа, закончив читать. – Как жаждут умереть за свободу Отчизны! А мы здесь...

– Натали, вовсе не всегда за Отчизну требуется умирать, – задумчиво возразил Михаил. – Разумеется, если ей угрожают враги или идёт война... или, как в Польше, Отчизна разрезана на части и истекает кровью под чужеродным гнётом. Но у нас, в России, сейчас больше нужно другое. Кстати, я рассказывал вам, что мне удалось устроить судьбу поляков? Тех, что недавно прибыли из Нерчинских рудников?

– В самом деле?! – радостно всплеснула руками Наташа. – Тех самых? Стрежинского и его товарищей? Которые в заговоре против государя четыре года назад...

– Натали, да вы больше меня знаете! – искренне изумился Иверзнев. – Но, помилуйте, откуда? Вы тогда ещё находились в институте!

– От Ванды, разумеется, от кого же ещё? – рассмеялась Наташа, глядя в растерянное лицо Михаила. – Она так страдала, так ужасно плакала... У неё оба брата были арестованы тогда! И, как только я узнала, что на наш завод поляки

должны прибыть, я сразу же ей написала!

– Не рискованно ли это, Наталья Владимировна? – осторожно спросил Михаил. – Вы ведь как-то говорили мне, что ваш папенька читает иногда вашу корреспонденцию.

– Да, случается, – Наташа сразу перестала улыбаться, – Но не от Ванды же! Он её прекрасно знает, она гостила у нас в Петербурге сразу после выпуска. Да папенька говорит, что все эти девичьи глупости на двадцати листах читать просто невыносимо!.. Так что я знаю: эти люди были осуждены на серебряные рудники. И пробыли там год, пока их родственники сумели добиться облегчения их участи... И вот, теперь они здесь, у нас!

– Более того: ваш отец был так добр, что отправил их ко мне в лазарет.

– Нынче же напишу Ванде! – обрадовалась Наташа. – Она обрадует родственников этих несчастных!

– Только не переутомляйтесь! – быстро сказал Иверзнев. – Вам вредны долгие занятия... И всё-таки, прошу вас, поосторожнее. Положение Стрежинского и его товарищей очень шатко, они – государственные преступники. Первое же нарекание – и их вернут в рудники.

– Я буду очень осторожна, – пообещала Наташа, глядя на Иверзнева широко открытыми, блестящими глазами. – Кроме того, папа всё равно не читает польски! Попрошу Ванду отныне писать мне только на её родном языке – и никто ничего не узнает! А... вы ведь придёте ещё ко мне, Михаил Николаевич? Папа будет очень рад вашим визитам... и я, конечно же... – она смутилась, залившись розовым цветом, неловко откинулась на подушку.

– Конечно же, – ещё больше сконфузился Михаил. – Разумеется, приду, я же вам журналы обещал! Принесу завтра же... если на заводе ничего не стрясётся. Вы сами знаете, как бывает...

– Буду молиться, чтобы ничего не случилось, – Наташа старательно оправила руками разлетевшиеся волосы. – Мне так хотелось бы поскорее встать...

– Рано, рано, Натали, – суровым «докторским» тоном заметил Иверзнев. – Не волнуйте папеньку и меня, выздоравливайте как положено. Через две недели потихонечку можно будет, а пока – лежать! Читать – и писать письма подруге в Варшаву.

– О-о, я вас поняла! – радостным шёпотом заверила его Наташа, и от её восхищённого, полного значительной тайны взгляда Михаилу в который раз сделалось неловко. Он встал, суховато поклонился и, не позволив себе даже улыбнуться, вышел из комнаты. Но, шагая в лазарет по раскисшей дороге, он с невольной радостью думал о том, что всё сложилось как нельзя лучше. Что эта замечательная храбрая девушка выздоравливает, что, возможно, с её помощью и в самом деле удастся получить весточку для поляков из Варшавы, – а есть ли большее счастье для людей, давно оторванных от родины и близких?..

«Удивительная девушка... право, удивительная! – весело думал Иверзнев, выдёргивая сапог из грязи. – Случаются же такие... будто и не своего папеньки дочь! Будто и не Смольный институт над её характером и душой упражнялся шесть лет! Мицкевич, с ума сойти... Польская патриотка в лучших подругах! И всё это под носом болвана Тимаева, благонамеренного до костного мозга! Письма её он читает, иезуит... о нравственности дочери беспокоится! И как, однако, все дураки на свете похожи друг на друга! Свято уверены в том, что никому их не провести и не обмануть! Надо будет Верке о мадемуазель Тимаевой написать, что ли... Она поймёт. Наташа страшно на неё похожа, и...»

– Михайла Николаевич! С ног сбилась, вас искаючи!

– Господи, Меланья! Куда ты несёшься? Тебе нельзя! Что там ещё?!

– С завода татарина Казымку принесли! Брагой обварился!

– Тьфу ты, дьявол... На час отойти нельзя, как дети малые! – Иверзнев разом выбросил из головы возвышенные мысли и, с руганью выдрав, наконец, сапог из липкой грязи, запрыгал по деревянным настилам вслед за Меланьей.

\* \* \*

– Антипка! Устька! Вон она – река!

Голос улетел в тёмный, по-осеннему тихий кедровник, эхом заметался среди могучих стволов, вспугнул серую белку, теребившую шишку на поваленном стволе. Зверёк кинулся было на сосну – и тут же с паническим стрёкотом метнулся по кривым ветвям выше: из кедровника с треском выломилась могучая фигура.

Ефим Силин проводил белку взглядом, сделал ещё несколько шагов, пересекая поросшую низкими, молоденькими соснами опушку – и замер.

Река лежала перед ним в каменистых уступах – широкая, почти неподвижная: о течении напоминала лишь чуть заметная рябь у пологого берега. Дальний берег был крутым, отвесным, сплошь заросшим соснами. Порыжелые макушки деревьев отражались в медленной воде. Серое, низкое небо хмуро смотрелось в реку, гнало по ней полосы облаков. Стоял октябрь, и со дня на день должен был упасть первый снег.

За спиной слышались мелкие, тихие шаги. Молодой бурят – невысокий, суховатый, словно вырезанный из соснового сучка, вышел на берег реки и встал рядом с Ефимом.

– Это твоя Аюн-река? – не глядя спросил тот. Бурят закивал головой и, ловко переступая кривыми ногами, пошёл по пологому берегу вниз, к воде.

Подошла Устинья: её узкая, холодная ладонь сжала руку Ефима, хриплое, надсаженное дыхание обожгло щеку. За ней, продравшись сквозь низко нависшие ветви елей, выбрался на берег реки Антип. На плече его сломанной куклой висела Василиса. Антип бережно положил её на палую хвою среди молодых сосенок. Девушка не пошевелилась. Её исхудалое, грязное лицо запрокинулось, потрескавшиеся губы разомкнулись.

– Сомлела, что ль? – подошёл Ефим. – Эй, Васёнка! Жива, аль нет?

– Дышит, – успокоил его брат. – Уморилась просто.

Последним из чащи выдрался Петька – тринадцатилетний, худой как щепка, мальчишка. Его большеглазое лицо осунулось от усталости. На руках у него, издавая недовольное щебетание, сидела семимесячная дочка Устиньи.

– Покормила б ты её, тётка Устя, – сипло посоветовал Петька. – Того гляди, заголосит.

– Ох, сейчас... Давай сюда. – Устинья села где стояла: под серый, поросший мхом валун. Привалилась спиной к каменному боку, выпростала грудь и взяла дочку из рук Петьки. Сердитый писк тут же сменился довольным чмоканьем.

– Ну, хоть кто-то завсегда у нас сыт! – невесело пошутил Ефим. – Братка, что делать-то будем?

– Шалашуху ставить, – помолчав, ответил Антип. – Бабы измаялись вовсе, и Петьку ветром качает.

– Вотсе и нет! – обиженно отозвался мальчишка. Он стоял на коленях у самой воды рядом с бурятом, жадно пил из пригоршни, и голос его звучал невнятно. – Я сейчас напьюсь... да с вами пойду... пособлю...

– Лучше Устьке здесь пособи, – распорядился Ефим. – Валежника вон натягай, костёр гоноши. А то вон Васёна вовсе кулём валяется, никакого проку от неё. А мы пойдём жердей нарубим.

Петька серьёзно кивнул и, поднявшись на ноги, зашагал к лесу.

Полтора месяца пятеро беглецов с Николаевского завода шли через тайгу. Первую неделю двигались без привалов, зная, что непременно будет погоня. Останавливались на ночлег лишь в полной темноте, даже не разжигая костра, и, едва ночная мгла начинала сереть, снова трогались в путь. Иногда с оглядкой пробирались по таёжным просекам, сплошь поросшим молодой сосной и ельником. Несколько раз выходили и на большак, при каждом шорохе ныряя в придорожный лес. Ночами Петька бегал к деревьям, где на крыльцах и порогах, по старому сибирскому обычаю, оставляли снедь для «бегунов». Возвращался счастливый, с хлебом, шаньгами, солониной и копчёной рыбой за пазухой.

«Вот пошли Господь людям добрым!.. – радовалась Устинья. – Авось и впрямь выберемся!»

«Погоди дух переводить... – хмуро обрывал её Ефим. – Рано ещё. Ищут нас, осторожность держать надо.»

Устинья только вздыхала: муж был прав.

Однажды им полдня пришлось просидеть в заросшей речной протоке, по пояс в ледяной воде: по тайге, переключаясь, ходили казаки с ружьями. Устинья крепко прижимала к груди дочку, содрогаясь при мысли о том, что Танюшка пискнет – и их сразу же обнаружат. К счастью, спящая у тёплой груди малышка ни разу не заплакала, а казакам не пришло в голову лезть в протоку. Но гораздо более солдат беглецы опасались бурятов: раскосых «лесных людей». На беглых каторжан буряты охотились с большим азартом, присваивая их небогатые пожитки и, если повезёт, оружие. За поимку беглых полагалась награда, но буряты редко отправляли пойманных «по начальству», не желая тратить время и силы на долгую дорогу. Предпочитали убивать на месте и снимать одежду уже с трупов. Антип и Ефим хорошо понимали, что с женщинами и детьми им не отбиться от «лесных». Не поможет даже старая «дура» – кремнёвое ружьё. Оставалось лишь надеяться на то, что пронесёт, спать по ночам «в очередь» и вздрагивать от каждого шороха.

Дней десять спустя после побега, уже отмахав добрую сотню вёрст по тайге, беглецы нос к носу столкнулись с оборванной и до смерти перепуганной ватагой «забайкальских». Те бежали со страшных серебряных рудников. Убедившись, что встретили «своих», Антип и Ефим поделились с мужиками солью и сухарями, но от предложения двигаться дальше всем вместе вежливо отказались. Отпетые рожи «руднишных» пугали больше, чем полная диких зверей тайга вокруг. «Забайкальские» настаивать не стали и затемно нырнули в тайгу. А несколько дней спустя Антип с Ефимом нашли всех пятерых среди сосновой гари мёртвыми и раздетыми догола.

– Буряты стрелами порешили, – вздохнул Ефим, осмотрев аккуратные отверстия на трупах. – Бурят – он зря из ружа палить не будет: патрон, вишь, денег стоит! Стрелой нашего брата бьёт! Бьёт да шкурку сымает, как с соболя... Антипка, переждать бы нам, ей-богу! Вдруг эти черти до сих пор где-то рядом крутятся?

– Чего переживать-то? – резонно возразил Антип. – Эти черти из-за любого куста выскочить могут. Как хочешь, дальше идти надо: двум-то смертям не бывать.

Кое-как схоронив убитых в старой медвежьей яме и воткнув сверху связанный из палок крест, тронулись дальше. Сухари и крупу берегли; ели мучнистые, сладковатые корни саранок, черемшу, грибы, во множестве выглядывавшие из-под хвойного ковра, сбивали палками кедровые шишки, полные маслянистых, вкусных орешков. Поклажи у беглецов было мало: главную тяжесть представляли маленькая Танюшка и ружьё. Кремнёвую «дуру» Антип то и дело порывался бросить где-нибудь в кустах:

– Толку-то от неё, как от быка молока! Охотиться с ней – так шуму на весь лес! И казаки, и буряты враз сбегутся!

Но Ефим выбросить кремнёвку упорно не давал:

– Коль взопрел – отдай мне, сам потащу! Мало ль зачем сгодится! Не ровен час, медведь на нас вылезет!

День шёл за днём. Густые кроны кедров и сосен с утра до ночи натужно гудели над головами. Под ногами хрустел валежник, с треском проламывалась сгнившая кора поваленных деревьев. Бурелом обступал корявыми засеками, топорщился сломанными сучьями. По ночам в глазах мелькали кочки и буераки, болотца и гари, мшистые завалы сухостоя. Погода стояла неласковая. Небо было сплошь затянуто низкими свинцовыми облаками, и путники не могли даже определить путь по звёздам и солнцу. К счастью, вскоре потянулись к югу птицы: несколько дней подряд с болот и озёр поднимались тревожно кричащие вереницы лебедей, гусей, журавлей, уток и прочих птиц, названий которых путники даже не знали. Они кружились над тайгой, кричали, сбивались в стаи, клинья уносились за вершины деревьев. Некоторые летели так низко, что до них можно было дотронуться рукой; у широкого ручья Антипа сбил с ног заполошный лебедь, догоняющий свой косяк.

– Тьфу, дурная птица! – выругался Антип, поднимаясь на ноги. – И когда уймутся только!

– Скоро перестать должны. – пообещала Устинья. – Ещё день-два – и все унесутся. Ты, Прокопъич, радуйся: они нам хоть путь кажут!

Так и вышло: вскоре берега таёжных озёр опустели. Внезапно очистилось до холодной синевы небо, – и, к полному своему унынию, братья Силины

обнаружили, что с пути они всё-таки сбились.

– Не на солнце, а почитай что на луну столько времени шли! – чуть слышно говорил Антип, разглядывая в ночном небе ровно горящий Ковш. – Теперь крюка давать придётся! Будь она неладна, погода эта... А думали-то уж к холодам на Шарташ выйти!

– Стало быть, к снегу выйдем! – с напускной бодростью отозвался Ефим. – Ништо, братка, выберемся! Не в такое попадали небось...

Наутро над тайгой поднялось розовое, дымное от холода солнце, и путники решительно взяли курс на юг, держа солнце слева. Однако, через день пути хвойный лес вокруг начал редеть, могучие кедры и вековые сосны сменились чахлой, поросшей белым мхом порослью, под ногами захлюпало, – и в конце концов путники оказались в болоте.

– Кажись, догулялись, крещёные, – спокойно сказал Антип, стоя в зелёной липкой жиже. – В самое болото влезли. Уже и трясина начинается. Как будем, Ефимка? Нешто поворачивать? Возвращаться – день потеряем... да и куда после-то? Болота тут могут на вёрсты вокруг тянуться. Коль уж заплутали – надобно дале по солнышку идти.

– А как через болото-то?! – вышел из себя Ефим. – Вон, у меня уже нога по колено вязнет, а дальше-то как? Застрянем с детьми посередь трясины – и поминай как звали! Сам, поди, помнишь, каковы болота тут! За минуту человека утянут!

– Назад ходу нет, – тихо возразил Антип. – Коли возвращаться с полпути станем да по тайге кружить – нас волки сожрут. Уж время ихнее начинается!

– Утопнем к едреням, – убеждённо и зло сказал Ефим, окидывая взглядом бескрайнее болото, из которого до самого горизонта торчали страшные, белесые остовы сухих деревьев. Никто ему не возразил.

– Нечего сидеть-то. Пошли, покуда не замёрзли, – наконец, скомандовал Антип. – Коль так – я вперёд, а вы в ниточку за мной. Авось Бог вынесет...

– Отчего ж это ты вперёд? – тут же заспорил Ефим. – Мне надобно!

– Оттого, что я тебя тяжелее, – добродушно отозвался Антип. – И коль проберусь – так и вы за мной пройдёте.

Брат был прав, и Ефиму пришлось согласиться. В молчании выломали себе по палке, выстроились гуськом, пристроив в хвост Василису и Петьку, Устинья крепче привязала к себе Танюшку, – и Антип, ощупав дорогу посохом, первым шагнул на обманчиво весёлую, кудрявую, словно не тронутую осенью болотную травку. И – сразу же провалился выше колена. Выбрался, уцепившись за протянутую руку брата, с изумлением покрутил головой, поудобней перехватил палку – и пошёл дальше.

За полдня они прошли едва ли версту. Страшно устали, перемазались и вымокли насквозь. Болоту, казалось, не было ни конца ни края. Час за часом тянулись мимо поросшие пожухлой травой кочки, оконца чёрно-коричневой торфяной воды, мёртвые, пересохшие стволы с космами мха и слезшей коры, похожие на растопырившихся посреди болота костлявых ведьм. Изредка по кочкам проносился заяц или проплывала по тенетам, пересекая чёрную гладь, ондатра. Ефим с завистью косился на них. «Вот бы и нам тако же, зайцами-то... Хвост задрал – и понёсся!» От усталости темнело в глазах, и Ефим почти всерьёз злился на брата, который преспокойно топал впереди, пробуя палкой дорогу. «Да ведь кончится же это когда-нибудь!» – молился про себя Ефим, понимая при этом, что идти таёжным болотом можно и неделю, и две – если, конечно, повезёт не сделать неосторожный шаг и не уйти в минуту с головой в трясину.

Только он подумал об этом, как сзади раздался пронзительный крик Василисы:

– Богородица!!!

– Что?!. – резко обернулся Ефим. И увидел Василису, стоящую в двух шагах от тропки уже по пояс в воде. Круглыми от страха глазами она смотрела на большую гадюку, неспешно, чёрной лентой, скользящую мимо неё между кочками. Ефим догадался, что девушка, испугавшись змеи, шарахнулась в сторону – и увязла сразу же.

– Васёна, стой где стоишь! Не шевелись! – крикнул он. Василиса застыла. Чуть слышным от страха голосом сказала:

– Тянет меня... Вниз... Ефим Прокопьевич... Господи...

– Стой где стоишь! – снова рявкнул Ефим. Обменявшись отчаянным взглядом с братом, осмотрелся – но из мёртвых кочек торчали лишь чахлые стебли прошлогоднего рогоза.

– Палку! Палку держи! – Ефим сунул Василисе свой посох, та ухватилась за него – и от этого движения ушла в болото почти по грудь. Ефим дёрнул – и палка, хрустнув, переломилась.

Чумазое лицо Василисы стало белым, на щеку выбежала крошечная слёзка.

– Не... не надо, – сипло сказала она. – Хуже только тянет. Видно, всё уж... Про... прощайте...

– Ну, ещё чего выдумала, – слышался вдруг из-за спины Ефима голос брата. Антип, подойдя, вдруг лёг на живот прямо в чёрную воду и, вытянув вперёд руки с ружьём, крепко перехваченным поперёк, приказал брату:

– Потянешь нас, как велью. А ты, Васёнка, за ружо держись. Вот здесь, посереёдке, где железо. Взялась? Крепко? Ну – с Богом! Давай, Ефимка!

Ефиму казалось, что прошла целая вечность, прежде чем ему удалось сдвинуть с места тяжеленную цепочку из Антипа с Василисой. Антип, намертво схватив поперх ружья тонкие, скользкие от болотной грязи руки Василисы, больше уж не выпускал их. Его самого спасало то, что, распластавшись по трясине, он не уходил вглубь. Но Васёна засела крепко и, как ни извивалась, освободиться не могла.

– Нет, Васёнка, так только хуже выходит, – голос Антипа по-прежнему был спокойным, словно они с Василисой сажали морковь в огороде, а не стояли одной ногой на том свете. – Ты вот давай не дёргайся, а вовсе замри. И не полошись, не оставляю я тебя тут! Сейчас за милую душу выдернем. Застынь! Ну, братка, давай, что ли! Бабка за дедку, дедка за р-р-репку...

– Устька, Петька... пособите... – прохрипел, надсаживаясь, Ефим. Две пары рук ухватились за него, помогая. Спиной он чувствовал сорванное дыхание жены, ожесточённое сопение Петьки.

– Да что ж вы портки-то с меня тянете, анафемы! За пояс берите! Все разом, ну!!! – заорал Ефим, в полном отчаянии понимая: отпусти он сейчас брата – и останется один посреди тайги с Устькой и детьми, а впереди – зима, волки, голодуха... Он дёрнул во всю мочь, так, что кровь ударила в глаза... и проклятая трясина вдруг чавкнула – звонко и обиженно. Василиса тяжело, как неведомое болотное диво, выползла на кочку – вся в коричневой грязи. Подняла измазанное, перекошенное ужасом лицо. Беззвучно, несколько раз вздохнула, зажмурилась.

– Всё, всё, всё уж... – загудело у неё над ухом, и Антип – такой же грязный, похожий на встрёпанного речного чёрта, потянул её на себя. – Всё уж, Васёнка, выбрались! Говорил же – выдерну!

«Говорил он... – оглушённо подумал Ефим, опускаясь рядом с братом прямо в грязь и пряча между коленями постыдно дрожавшие руки. Рядом всхлипывал перепуганный Петька. Устинья не плакала, добела закусив губы, но Ефим видел, как трясутся её плечи под грязным каторжанским азымом. А Антип сидел, как ни в чём не бывало, держал на коленях Василису, заходившуюся в сухих, бесслёзных рыданиях, и успокаивающе говорил:

– А вот мы сейчас поплачем да перестанем... А вот дале пойдём и до ночи на сухое выберемся... Шишечку найду, орешков налушим, огонька вздуем... Не судьба нам с тобой, Васёнка, в болоте увязнуть! Видать, другое что-то Господь нам сготовил!

– Да что ж ты с ней, как с дитём-то?! – не вытерпел Ефим, но кулак жены с силой ткнулся ему в рёбра. Поневоле пришлось умолкнуть.

В конце концов судорожные всхлипы Васёны сошли на нет. Вскоре она, смущённо отстранившись от Антипа, поднялась на ноги – и тут же рухнула на колени.

– Ноги-то... ноги дрожат... проклятые...

– Посиди ещё, успокойся, – посоветовала Устинья. Но Василиса глубоко вздохнула и, сурово сдвинув брови, поднялась снова. На этот раз она устояла на ногах и, посмотрев на Антипа, слабо улыбнулась дрожащими губами:

– Что ж, Антип Прокопъич... Дале трогаться надо! Только вот «коты» утопила я...

– Малым отделалась, – усмехнулся Антип. – Устя Даниловна, дай мне палку хоть твою, – и, приняв из рук Устиньи единственный уцелевший посох, зашагал по кочкам дальше.

Выбраться на сушь в этот день они не успели. Ночевали в болоте, тесно прижавшись друг к другу и стуча зубами от холода: развести костёр было не из чего. К счастью, уже сгнула от холода проклятая мошка и злющие болотные комары. Наутро, едва рассвет тронул мшистые кочки, путники тронулись дальше. И снова впереди топал Антип, время от времени проваливаясь по колено, а то и по пояс, но Ефим всякий раз был начеку и, ругая страшными словами болото, каторгу, Сибирь, Господа Бога и всё небесное воинство, вытаскивал брата на твёрдую тропку. То и дело он оглядывался назад, посмотреть – как там бабы. Те шли – молча, стиснув зубы, перемазанные, мокрые, злые. Замыкал шествие Петька, который тоже молчал: берёг силы. Шагали не останавливаясь – Устинья даже умудрялась на ходу кормить грудью дочку. И после полудня Антип, потыкав палкой в густой мох перед собой, вдруг остановился и удивлённо сказал:

– Кажись, не топко! Ефимка, глянь! Никак, вылезли?

Они прошли ещё несколько шагов, недоверчиво щупая палками почву – но та не проваливалась под ногами, не вязла, не засасывала сапоги. Да и кочки вокруг были уже другими: мягкими, рыжими, без кудрявой, обманчиво яркой зелени. А вдаль темнели сизой хвоей великаны-кедры.

«Выбрались!» Ефим рухнул на землю где стоял, прижался щекой к колючей, уже пожухлой траве с запутавшимися в ней ржавыми иголками. Ободрал скулу о жёсткую сосновую шишку – и не заметил этого, сморённый крепким, мгновенным сном. Он не видел, как падали наземь и сразу же засыпали другие, как Петька закатывается под куст можжевельника, как вытягивается на перекопанной кабанями земле Антип и как Василиса, обняв его руку, сворачивается ежом, поджав под себя босые, озябшие ноги. Не легла одна Устинья. С дочкой на руках она уселась на могучий, выпирающий из земли на пол-аршина корень сосны, прислонилась спиной к растрескавшемуся, шершавому, медно-красному стволу, запрокинула голову со сползшим на затылок платком – и не то задремала, не то впала в недолгое забытье. И первой встала через час, и подняла остальных, настойчиво растрясывая, уговаривая, грозя:

– Вставайте, вставайте! Антип Прокопъич, Ефимка, подымайтесь! Васёна, не смей обратно заваливаться! Петька, маленький, надо, надо... опосля выпитесь... Вечер уж, нельзя на голой земле ночевать! Нутро выстудите, что я тогда с вами делать стану? Чем лечить?! Волки уж запели, поспешать надо!

И сразу же, словно в подтверждение её слов, из сумеречной тайги отчётливо донеслись волчьи завывания. Услышав их, на ноги разом вскочили все – и, бурча сквозь зубы проклятия, снова начали продираться через лес. Ночевали, впервые запалив костёр, под огромным выворотнем, наспех накидав внутрь лапника и дежуря у огня по очереди. А наутро снова тронулись по тусклому осеннему солнцу на юг.

Теперь они шли ещё медленней: Василиса, утопившая казённые «коты» в болоте, сразу немилосердно изранила об острый валежник босые ноги. Она не плакала; упрямо закусив губы, старалась шагать вровень с другими, но все видели, с какой болью ей даётся каждый шаг. В конце концов Антип прекратил эти мучения, перекинув девушку через плечо и зашагав с нею дальше. Через час его сменил Ефим. Поначалу нести худенькую, как ребёнок, Василису казалось парням забавой, но к вечеру ощутимо умаялись оба. На привале Василиса, устав крепиться, тихо всхлипывала в кулак:

– Всё через меня вышло... Всё... С завода ушли... В болоте чуть не утопли... Ноги вот теперь эти проклятые... Хоть бы лапти себе сплела – так не из чего! Цельный день смотрю – ни единой липки не встренулось!

– Не растёт здесь липа-то, Васёна, – тихо сказала Устинья. – Не Расея, чай.

– Да как же? А у нас около завода сколько их было?! И лапти плели, и игрушки дитям вертели...

– То привозные. Кто-то из каторжных, видать, семечко в одежде аль в обувке принёс, липка и прижилась. И всё равно: худо ей здесь, холодно, не цветёт почти... Да не реви ты, глупая! Ишь чего вздумала – из-за неё всё! Ложись да спи, силы береги!

В молчании съели по сухарю, запили водой из ручья и, завернувшись в грязные, сырые азямы, легли спать вокруг костра.

Первым вызвался дежурить Ефим. Собрав охапку валежника чуть не выше себя самого и нарубив с елей смолистого лапника, он решил, что этого будет достаточно, чтобы отогнать волков. Вскоре огромный костёр гудел, взлетая длинными языками к кедровым вершинам, и снопы искр, крутясь, уносились в чёрное небо. Ефим сушил у огня азам и разбитые сапоги, следил, чтоб от случайно прилетевшей искры не затлела ветхая ткань. Твёрдый, как деревяшка, сухарь провалился в нутро, словно в пустой колодец, не дав сытости. В голове против воли бились тоскливые, злые мысли – о том, что в который раз, бросив всё, пришлось пускаться в бега. О том, что скоро зима. Что того гляди падёт снег, а на руках у них с Антипкой – бабы и дети... Ефим знал про себя, что с голодухи всегда начинает звереть, и старался отвлечь себя от нехороших размышлений, но те упрямо, как мотыльки на огонь, возвращались назад.

Рядом в кустах, как назло, завозился какой-то зверёк, испуганный огнём, и Ефим в сердцах запустил в него шишкой:

– Сгинь!..

– Что, Ефим? – послышался взволнованный шёпот. Из-под лапника высунулась голова жены. – Волки?

– Спи, остуда! – огрызнулся он. – Нету никого!

Устинья, однако, больше не легла. Выбралась на четвереньках из шалаша, села возле костра. Ефим, стиснув зубы, упорно смотрел в огонь. Несколько минут они сидели в молчании. Затем Устя, не глядя на мужа, вполголоса сказала:

– Ну – говори, Ефим Прокопъич.

– Чего говорить-то? – прорычал он сквозь зубы. – Сама всё знаешь... Главное, то обидно, что ни за что пропадём.

– Отчего ж пропадём-то? – чуть слышно спросила она.

– Да оттого! – выверился Ефим. – Ведь права Васёна-то – через неё всё вышло! Через неё с завода сорвались! Через неё нас всех тут волки сожрут! А чего ради? Нешто не видишь, что Антипке она задаром не нужна? Кабы я видел, что она ему

люба, что дышать без неё не может, – я бы слова не молвил! До кровавого поту бы через болота топал! А тут что?!

– Да не грехи ты! – рассердилась, наконец, и Устинья. – Антип за тобой, небось, на каторгу пошёл – пустого не болтал, а ты...

– Не за мной, а за тобой он пошёл.

– Тьфу, бессовестный...

– Скажешь – нет?! – всем телом развернулся к ней Ефим. Но жена не смотрела на него. Исхудалое лицо её было спокойным, серые глаза безотрывно смотрели в огонь.

Несколько минут оба молчали. Наконец, Ефим буркнул:

– Прости, коль худо сказал. Только сил же нет никаких, Устька... Как почну думать, что на заводе с нас через год железа бы сняли... Что мы с Антипкой у Лазарева в подручных, как у Христа за пазухой, ходили... Ведь мастерами были, сами печи ладили! Даже с других заводов за нами присылали – вспомни! А к тебе за сто вёрст народ лечиться тянулся, даже и господа не брезговали... И ни голодухи, ни притеснений никаких нам не было! Будто не каторга, а рай небесный! А теперь, стало быть, всё сизнова?.. Да что ж это у меня за планида за такая – по болотам бродяжить? Да грибы сырые, как свинья, жрать?! Давеча в болоте чуть не сгнули! Того гляди, снегом накроет! Да скажешь ты хоть слово, игоша проклятая, аль нет?!

– Да нечего говорить-то, – Устинья повернулась к мужу. Рыжий свет огня лизнул её лицо сбоку. – Я ведь, Ефим, сама про то же самое думаю. И тоска такая по временам навалится, что впору лицом в эти кочки ткнуться да и замереть... Только я, как вовсе худо становится, про другое вспоминаю. Не про грибы эти сырые да не про мокрость... А про то, как я вот так же из нашего Болотеева в Москву шла. Одна-одинёшенька, голодная, босая, и без надежды никакой. Уж седьмой год тому минул – а до сих пор во сне видится! Сам, поди, знаешь: сколько раз меня ночами расталкивал, будил... Всё видится, как иду по дороге-то... Ноги гудут, обочина вся обмёрзлая, сверху ледяным поливает, нутро с голоду крутит, – а я иду и иду, остановиться боюсь... И одно только меня тогда на ногах держало – что, коли встречу с тобой сизнова, так только в Москве!

Кабы не это – не дошла бы я тогда, Ефимка! Видит Бог – не дошла б... – голос её дрогнул, и Ефим, смущённый и растерянный, не сразу сумел нащупать в темноте руку жены. Устинья ответила ему слабым пожатием. Глубоко вздохнув, продолжила:

– А сейчас – что ж... Сейчас-то ты со мною! Рядом топаешь, ругаешься, меня игошей зовёшь – всё как всегда... Коли ты со мною, душа разбойничья, – так мне ничего на свете не страшно! Куда угодно дойду. На карачках доползу и не пожалуюсь. Вот такое моё бабье помышление. Жаль, что у тебя не так же.

В чуть слышном голосе её не было упрёка, но Ефим виновато засопел, отвернулся. Лишь минуту спустя смог сказать:

– Дура ты, Устька... Да ведь мне без тебя весь свет не нужен!

– Не ври, – отмахнулась она. Но муж могучим движением сгрёб её в охапку, опрокинул на колючую охапку лапника, оборвал поцелуем испуганный, протестующий вскрик.

– Это я вру?! А из-за кого я на каторгу свалился – не припомнишь? А кто мне всю душу по ниточке вымотал? А с кем я закон принял? У, ведьмища, вру я ей... Устька-а-а, господи-и... Да что ж от тебя даже в болоте мёдом пахнет?!

– Ефим! С ума сошёл, Ефим! – смеясь, отбивалась Устинья. – Никакого стыда в мужике отродясь... Ведь на самом свету же сидим, охальник! Антип проснётся, Васёнка! Что подумают?!

– А пущай завидуют, коли сами дураки... Да не пихай ты меня: я право имею! Устька, мёд ты мой полынный, игоша болотная... На погибель ты мне послана...

– Тьфу, типун тебе на язык... Ирод... Эку бородищу-то варнацкую отрастил, колется... Шишки у тебя, что ль, в ней?.. Господи, хорошо-то как, счастье какое... Ефи-и-имка, ой...

Через полчаса Ефим спал, разметавшись на охапке лапника и запрокинув к чёрному небу обессиленное и счастливое лицо. Устинья сидела рядом, переплетала косу, в которой запутались хвоя и кусочки коры. Морщась, дёргала

слипшиеся от засохшей болотной грязи волосы. Изредка, оборачиваясь на спящего мужа, вздыхала, слабо улыбалась. Зябко передёргивала плечами и подбрасывала в притихший костёр валежник.

Ещё несколько дней они шли через тайгу на юг, с опаской поглядывая на мглистое, набухшее небо. Антип по-прежнему нёс на плечах Васёнку, время от времени его сменял Ефим. Заканчивались сухари, и на дне котомки Устиньи оставалось лишь несколько горстей крупы. Уже давно никто из беглецов не мог сказать, сколько вёрст они прошли, сколько ещё осталось и выберутся ли они до снега к нужному месту.

Тот день выдался ясным, холодным. Утром трава подёрнулась жёстким искрящимся инеем. Разлапистые ветви кедров были тоже покрыты морозным налётом. Озябшие путники наспех затоптали костровище, похватали котомки и углубились в тайгу. Но они не прошли и полуверсты, как Устинья остановилась и прислушалась.

– Чего ты? – недовольно обернувшись, спросил Ефим. И тут же сам услышал не то вздох, не то стон, донёсшийся из огромного, поросшего мхом бурелома. Невольный страх продрал по спине. «Зверь какой, что ли?»

– Антип... Где дура наша?

Антип не спеша снял с плеча старую кремнёвку. Сделал несколько шагов к бурелому. Прислушался. Ефим взволнованно дышал у него за плечом.

Некоторое время было тихо: лишь постукивал из чащи дятел. Затем вздох повторился, сопровождаемый каким-то горестным бормотанием. Ничего членораздельного в этих звуках Ефим не услышал, и против воли ему стало жутко:

– Устька... Может, нечисть какая? Ты ж с ними умеешь...

– Сдурел, ирод! – шёпотом выругала его Устинья и, нахмурившись, пошла прямо к бурелому. Ефим даже не сразу сообразил догнать её и оттолкнуть назад:

– Да куда ж тебя?.. А ежели зверь?

– Да где зверь-то? – рассердилась Устинья. – Сам слушай! Человек там! Антип Прокопич, поглядеть бы надо...

Братья Силины переглянулись. Антип вздохнул. Ефим тоскливо выругался. И вдвоём они молча принялись протискиваться сквозь переплетённые, словно насмерть сцепившиеся в схватке ветви.

Вскоре стало понятно, что перед ними глубокая яма, заваленная сверху древним сухостоем, уже схваченным многолетними зарослями мха. На беглый взгляд яму под палыми ветвями было и не заметить, – но провалиться в неё, под острые обломы сучьев, в скользкую сырость, означало верную гибель. И сейчас там, в грубоком, сыром сумраке, под наваленными корягами, кто-то вздыхал и плакал от боли.

– Эй, кто там? Крещёный? Отзовись! – крикнул Ефим. В яме тут же стало тихо.

– Кто там, спрашиваю? Гляди, стрелю!

– Да погоди ты человека страшать, – упрекнул его Антип. – Мы его боимся, а он нас, поди, – втрое. Эй, страдалец, ты хоть голос подай!

«Страдалец» опасливо молчал.

– Уйдём ведь! – припугнул Ефим. В ответ – тишина.

– Может, помер? – без особой надежды предположил Ефим. – Так ему там и оставаться надёжнее... Антипка, да не полезу я туда, хоть убей! Только мне и дела, что бог весть кого из ямин выковыривать!

Но Антип уже молча сгрузил на кочку мешок и ружьё и, вытащив из-за пояса топор, примерился к бурелому. Ефим свирепо посмотрел на брата. Зажмурившись, беззвучно и страшно, от всей души выругался. И принялся помогать.

Они провозились до полудня, растаскивая намертво схватившийся, оцетиненный острыми обломами сухостой, исцарапались до крови и вконец изодрали и без того худую одежду. Устинья и Василиса с детьми держались

поодаль и помалкивали, опасаясь подвернуться Ефиму под горячую руку. В конце концов один край бесконечного завала был расчищен, и перед братьями открылся чёрный сырой провал.

– Берлога медвежья, что ль? – заглянул внутрь Антип. – Ефимка, глянь, на дне вон копошится! Живой, значит! Эй, мил-человек, ты кто будешь?

Тот что-то слабо пропищал. Ефим подошёл. Нахмурился. Спокойно сказал:

– Бурят, кажись, там. Ну тогда пошёл я отсюда.

Он развернулся и зашагал к соснам, под которыми ждали женщины. Но на полдороге не вытерпел и оглянулся – уже прекрасно зная, что увидит.

Так и есть: Антип сидел на краю ямы и примеривался половчее спрыгнуть внутрь.

– Антипка! Да что ж ты за... – от бешенства у Ефима даже не нашлось подходящего ругательства. – Ну куда ты лезешь, стоеросина, куда?! Бурятов ещё не хватало по ямам собирать! Провалился – туда ему и дорога! Нам вся каторга спасибо скажет! Они ж на нашего брата, как на зверя, охотятся, а я их из-под земли тащи?! Ну что ж ты за идолище, Антип?!!

– Подержи-ка, – невозмутимо перебило его «идолище», бросая прямо в руки брату свой снятый азам. От неожиданности Ефим поймал его. А Антип, оставшись в одной рваной рубахе, преспокойно съехал в яму. Вскоре оттуда послышался его задумчивый голос:

– И верно: бурят... Живой ещё! Давай, братка, готовься подымать! Бери топор, ёлку какую-нибудь ступеньками подруби – да спущай!

– Тьфу ж, холера... – тоскливо сплюнул Ефим, тоже сбрасывая азам. – Ну вот что стоило на десяток шагов в сторону взять?! Устька! Из-за тебя всё!

Устинья только вздохнула.

От злости Ефим в два счёта снёс топором суковатую ель, обрубил ей ветви, оставив сучки-ступеньки, спустил самодельную лесенку в яму и прыгнул следом.

Бурят оказался маленький, лёгкий и от голода высохший чуть не до костей. Было очевидно, что в яму он провалился давно и долго старался выбраться: все стены были истыканы его ножом, который в конце концов сломался. Братья, крича и ругаясь, кое-как подняли «страдальца» на поверхность и уложили его на мшистой кочке, подсунув под голову свёрнутый азам.

Взглянув на спасённого при свете дня, Ефим почувствовал слабую надежду на избавление: бурят был совсем плох. Он тяжело и хрипло дышал, запрокинув лицо, обросшее клочковатой бородёнкой, на смуглом горле ходуном ходил острый кадык. Устинья озабоченно потрогала ему лоб и отёрнула ладонь:

– Как печь горит! Та-а-ак... Палите костёр, воду ищите! Нет, сама пойду найду... Антип, пошто накрываешь его? Не надобно, коли озноба нет! Так хуже можно сделать! Сидите здесь, сторожите, я – мигом! – и нырнула в тайгу.

– Всё, братка, пропали мы, – тоскливо сказал Ефим, садясь на сырой мох. – Коли Устька за него взялась – не уймётся, коли на ноги не поставит.

Антип спокойным кивком подтвердил его догадку.

– Так времечко-то уходит! Что с нами-то будет? Замёрзнем как есть в лесу! Али волки сожрут!

– Знаю, – невозмутимо отозвался Антип. – Только сам смотри: три-четыре дня нам обедни не спасут. Всё едино ни к Уралу, ни к Шарташу уж не поспеваем. Надо бы к деревням выходить да на постой проситься.

– Начальству сдадут...

– Авось пожалеют с дитями-то. Увидят, что мы не убивцы какие... Да мы ведь и заплатим хорошо! По другому-то уж никак.

Ефим молчал, понимая, что брат прав.

– Я уж и сам думал, что передохнуть хоть денёк надо: Устька с Петькой вконец умаялись. Они ж в череду Танюшку тащат, а она уж вон какая увесистая сделалась.

– Сам, поди, подкис Васёну волочить? – поддел его Ефим.

– С чего «подкис», когда по очереди тащим? – усмехнулся брат. – Да и что там надрываться: она истаяла вся, чисто былинка... Несу – а она мне в шею сопит да всхлипывает...

– А мне – нет, – буркнул Ефим. С отвращением покосился на лежавшего неподвижно бурята и вздохнул, – Связался на свою голову с игошей этой... Всю жисть теперь всякий сброд из-под кустов вытаскивать да на хребет себе сажать!

– Такова уж твоя доля, – без тени насмешки согласился брат – и, взяв топор, отправился рубить сушняк для костра.

Вскоре из леса вынырнула Устинья с котелком воды и охапкой сизоватой травы.

– Слава богу, нужная травка сразу сыскалась! – радостно оповестила она, – Как меня ждала: прямо возле ключика топорщилась!

– Вот радость-то... – хмуро пробурчал Ефим. – Ведь и придёт человеку пора помереть – нипочём не даст!

– Теперь я скоренько... теперь только заварить её, отцедить – и давать помаленьку! Ефим, а вы куда смотрели-то?! Гляньте, он скрючился весь: озноб пробрал! Где азам?! Укрывайте! Васёнка, Васёнка... тьфу ты! Спит! Антип, ты бы хоть веток под неё подстелил!

К сумеркам братья возвели шалаш: высокий, тщательно укрытый плотным еловым лапником. Внутри накидали того же лапника, и Устинья сама перенесла на него ссохшегося от голода, лёгкого, как ребёнок, бурята. Тот так и не пришёл в себя, но, когда лекарка принялась вливать ему в рот из наспех выструганной ложки сизо-чёрное, невероятно вонючее снадобье, неожиданно принялся с жадностью глотать.

- Голодный, – вздохнула Устинья, – Ефим, дай сухаря! Ну, что смотришь – давай!

- Так последний же, Устька...

- И что – нам на шестерых его делить? Сыт останешься полкрошкой этой?! – рассердилась она. – Давай, говорю! Походите лучше, шишек посмотрите да грибов!

И грибы, и шишки с орехами принёс Петька. Устинья, отлив снадобья в туесок из коры, наспех сварила в котелке остатки крупы с грибами, сдобрив кашу последней щепоткой соли, и путники довольно сносно поужинали. Так и не проснувшуюся Василису отнесли в шалаш, рядом с ней прикорнул уставший Петька. Вскоре уснули и мужчины. Только Устинья просидела до рассвета, поглядывая на бледный месяц, плывущий над кедровыми вершинами. Когда угли гасли, Устинья вставала и подбрасывала в огонь сухие ветви. Сухой смольняк вспыхивал дружно, жарко, окатывая рыжим светом мохнатый край шалаша и угловатое, высохшее лицо бурята. «Выживет аль нет?» – сонно, почти равнодушно думала Устинья, прикидывая, хватит ли на завтра снадобья или придётся снова бежать к ключику, чуть заметному на дне оврага, который она сумела отыскать только по сырому запаху растущего в нём игиря. – «Кабы помер – может, и ему легче бы... Сколько ж он в той яме просидел – страсть подумать!»

Под утро уснула и Устинья и, запрокинув голову, улыбалась во сне: ей виделось далёкое, забытое уже, родное Болотеево, июньское разнотравье на солнечном, ясном косогоре, липа, вся в золотистых рожках, окружённая роями пчёл, высокое синее небо, подёрнутое рябью прозрачных облачков. И даже во сне сладко пахла мёдом липа, веяло с полей душистой пылью и жужжали мохнатые шмели в высокой траве, а плечи щекотали розовые метёлки иван-чая... «Быть грозе... – во сне подумала Устя, глядя на громоздящееся друг на друга облака. – Ливню быть...»

Бурят пришёл в себя к вечеру второго дня – и увидел прямо перед собой недовольную физиономию Ефима, приставленного следить за «болезненным». Устинья ушла в тайгу за травой, Антип спал, Петька и Василиса, прихватив с собой Танюшку, побрели искать последние грибы. Испуганно залопотав, бурят пополз на локтях в сторону.

– Да лежи ты, басурманина! – попытался успокоить его Ефим, с досадой понимая, что его посечённая шрамами, заросшая лешачьей бородой рожа напугает кого угодно. – Лежи, не тронет тебя никто! Вот сейчас фершалка наша придёт...

Но «басурманина» и слушать ничего не хотела – и всю ползла прочь, натываясь локтями на корни и брошенные шишки. В конце концов бурят сшиб Устиньин туюсок, тот опрокинулся набок, и по рыжей хвое поползла тёмная струйка снадобья.

– Вот сейчас башку-то отверчу! – вконец рассвирепел Ефим, вскакивая на ноги и хватая щуплого бурята поперёк живота. – Куда тебя, вражина, несёт?! Гляди, лекарство своротил! А Устька его вчера полдня варила! Вот как дам сейчас промеж...

– Ефимка, Ефимка, ты куда его волочишь-то? – раздался взволнованный голос, и из сосняка появилась Устинья. – Что стряслось? Очулся?! Ты его не придушить вздумал ли?

– Не успел малость, – буркнул Ефим, без особой нежности бросая бурята на слежавшийся лапник.

Устинья подошла, села рядом с испуганным раскосым человечком и, спокойно улыбаясь, принялась шёпотом внушать ему что-то. Бурят слушал, напряжённо всматриваясь в её лицо. Постепенно его искажённые страхом черты разглаживались. Наконец, Устинья с улыбкой повернулась к мужу:

– Ефимка, да он по-русски знает! Смотри – понимает меня!

Бурят действительно немного понимал по-русски. Довольно быстро выяснилось, что зовут его Гамбо, что он охотник, что его род никогда в жизни не занимался поимкой беглых и что он провалился в яму «много-много день» назад, преследуя косяк и не сумев вслед за ней перелететь столетний бурелом.

– Откуда по-русски знаешь? – недоверчиво поинтересовался Ефим.

В ответ Гамбо похвастался, что у него есть русская жена, которую он несколько лет назад нашёл в тайге по разносящимся на весь лес воплям и причитаниям: баба выла над умершим мужем. Судя по всему, это была беглая каторжанка, мужик которой не вынес тягот пути через тайгу. Гамбо забрал красивую русскую в своё стойбище, и она родила ему четверых ребят. Женой бурят был вполне доволен: его огорчало лишь то, что Анна напрочь отказывалась мазать кровью и жиром бурятских божков, упорно молясь своей ладанке на груди и крестясь на восток.

– Ещё не хватало: истуканов салом кормить! – содрогнулся Ефим. – Идолище ты лесное и есть, Гамбо! За это тебя бог и в яму сбросил!

– Оставь человека в покое, – тихо велела Устинья. – Каждый со своим богом живёт как умеет. Дай-ка лучше послушаю я его.

Она развязала кожаную рубаху бурята и битый час выслушивала его, прижимаясь ухом к впалой груди. Выпрямилась с недоверчивой улыбкой:

– Ты глянь... и впрямь человек лесной! Столько дён в стылой яме провалялся – а грудь не выстудил! Ровненько дышит, спокойно! Стало быть, скорёхонько на ноги поставлю!

– Давай уж поживей, Устька... – уныло попросил Ефим. – Как есть снегом нас в лесу накроет...

Но Устинья не слышала: она вдохновенно хлопотала над котелком.

– Сейчас, сейчас, Гамбо... как по батюшке-то? Как?! Нипочём мне не выговорить... Ну и ладно, молодой ты ещё! Сейчас травки заварю, отцежу, выпьешь – и через день здоровым домой побежишь, к Анне своей! Уревелась, поди, вся... А что голодный – так сейчас тюри с сухариком дам! Только потихоньку, не то кишки в узел завяжутся – и там уж лечи не лечи... Ефим! Что встал-то – неси полсухаря наши! Да шалаш подправить надо – не дай бог ветер подует! С утра-то уж потягивало!

Словно только этого и дожидаясь, из леса выбежал встревоженный Петька:

– Дядя Ефи-им! Дядя Анти-ип!!! Погляньте! Туча с гор идёт – такова чёрная, страшная!

– Этого не доставало! – от души выругался Ефим, хватаясь за топор и устремляясь к высоким елям, – Вставай, Антипка, поспедай! Сейчас ещё и снежком завалит!

Когда братья, наспех нарубив нового лапника и жердей, вернулись с ними к шалашу, ветер усилился. Ледяные порывы сбивали с ног, заставляли крениться и жалобно трещать толстые кедры. Где-то в тайге с глухим, почти человеческим стоном обрушилось дерево, и стая птиц, испуганно гомоня, взметнулась над хмурыми вершинами. Туча, выпершая из-за гор сизым, набухшим хребтом, уже загородила собой половину неба. В воздухе вертелись редкие снежинки. Беспечно косясь на вздыбившуюся в небе черноту, Антип и Ефим унесли в шалаш Гамбо, затоптали, опасаясь пожара, костёр, начали торопливо укреплять кренящийся под ветром шалаш. Женщины и Петька помогали как могли: держали жерди, помогали стягивать их, подтаскивали ветки. Танюшка, оставленная матерью на охапке лапника, голосила во всю мочь, но Устинья некогда было подойти к ней. Налетевший ветер разметал ветви, поволок истошно вопящую малышку по земле. Устинья едва успела догнать и подхватить на руки дочку.

– Живо давайте! – окликнул их сердитый голос Ефима. Устинья, одной рукой прижимая к себе Танюшку, а другой кое-как придерживая рвущийся на ветру подол юбки, нырнула в шалаш, – и тут же повалил снег. Он обрушился сплошной стеной, в одно мгновение выбелив прибрежный песок. Ветер выл и визжал как живой. Ефим представил себе, что было бы, окажись они в эту минуту в тайге или посреди болота, – и по спине пробежал мороз. «Схоронил Господь...» Они сидели в кромешной темноте тесного шалаша, крепко прижавшись друг к другу. Под мышку к Ефиму забила Устинья, и он чувствовал на груди её взволнованное, горячее дыхание. Между ними копошилась, слабо попискивая в поисках материнской груди, Танюшка. Рядом хрипло дышал Гамбо. А совсем рядом слышалось сопение Антипа, у которого в охапке оказались Петька и Васёна.

– Ништо, ништо, – донеслось до Ефима успокаивающее бормотание брата. – Нечего бояться: не посреде леса, чай. Все вместе не замёрзнем, ведь эдак и охотники в лесу снег пережидают, слышал я. Гамбо, верно ль говорю? Ну вот... А снег этот ненадолго, растает ещё... Васёнка, удобно тебе этак? Ну и спи с Богом,

и ты, Петруха, тож. Завтра день придёт – он покажет... Ефимка, как мыслишь, не задохнемся мы так-то под снегом?

«Не должны...» – хотел было сказать Ефим, но душное, влажное тепло обволокло голову, темнота смежила веки, и он, так и не сумев ответить брату, заснул – как провалился.

Устинья не ошиблась: через два дня Гамбо уже был на ногах: по-прежнему худой до прозрачности, но вполне бодрый. К тому времени он успел во всех подробностях выслушать печальную повесть беглецов и, поразмыслив, посоветовал им сплавиться вниз по реке Аюн – «медвежьей».

– Да где ж тут река-то? – недоумевал Ефим. – Одни ёлки да каменюки вокруг! Да ключ в овраге бежит! Не запутаешь ли нас, лешак косою?

В ответ Гамбо бил себя кулаком в грудь и клялся каким-то Оггой, что не врёт. Ефим настоял, чтобы бурят перекрестился. Тот с готовностью сделал и это. Затем растолковал, что до реки не более трёх дней ходу по тайге, что Аюн-река через десять дней пути по ней впадает в другую, ещё более длинную и широкую реку, которая принесёт путников прямо к высоким горам.

– Нешто к самому Уралу? – сомневался Антип наедине с братом. – Отчего ж наши-то варнаки нам про то не сказывали? Да ещё бог знает, что за река Медвежья эта... Гамбо, может, и сам толком не знает. Не бурятское дело-то – по рекам сплавляться. Это, может, вёрст десять река широка да медленна. А ежели поскачет? Аль обмелеет? Да пороги, не дай Бог? Плот о камни размолотит в один миг! Мы-то с тобой в случае чего с плота – да в воду, да вплавь до берега, а бабы наши как же? А дети?

Но Ефим уже загорелся.

– Антипка, да ведь выбираться-то всяко надо! Слава богу, снег покуда сошёл – так ведь не сегодня-завтра новый выпадет! И тогда как? По реке хоть сотню вёрст выгадаем! Всё лучше, чем через тайгу топать да Васёнку на себе волочь! У ней ведь даже обувки нету! Да к тому ж, ежели заметим, что течение быстрее делается, – нешто вовремя к берегу не пристанем?

– Это хорошо, коли берег гладкий окажется, – продолжал прикидывать Антип. – А коли горы отвесные по двум сторонам?

– Там видно будет! – отмахнулся Ефим.

Сейчас Гамбо стоял рядом с братьями Силиными на пологом берегу реки Медвежьей.

– До самого Аюн-камня вода ровный. – объяснял он, палочкой чертя на выглаженном волной песке. – И глубоко, и несёт не шибко. Это на десять дней. А после Камня пороги пойдут. Три – лёгких, четвёртый... вовсе худой. Перед ними надо к берегу править, плот бросать и помалу день поверху идти...

– Вот, значит, как... А на берег-то выбраться можно будет?

Бурят объяснил, что пристать к берегу можно будет перед самыми порогами, около Аюн-камня. Там пологий, удобный берег и слабое течение. Гамбо ловко нарисовал бегущие волны и справа от них – камень, в самом деле очень похожий на медведя, ловящего рыбу[2 - Аюн – медведь (бурят.)]. Затем бурят серьёзно повторил, что после камня выбраться будет уже значительно труднее, а после порогов – и вовсе невозможно. Там, против Алтан-горы, река уходит под землю. Гамбо даже не поленился, нарисовав гору, провертеть под ней в песке чёрную глубокую дырку. Размахивая руками и тараща глаза, он пояснил, что коли что-то – человек, животное или плот – провалится в ту дыру – поминай как звали.

– По берегу день пройдёте – снова можно плот ладить! И плыть спокойно-ровно до второй реки! А там уже вовсе хорошо будет!

Наконец, бурят вежливо простился с ними, отдельно поклонился Устинье – и беззвучно, как тень, исчез в тайге. Ефим даже покрутил головой: казалось, вот только что Гамбо стоял в двух шагах, – и вот его уже нет и в помине: только тяжёлая еловая ветвь слегка покачивается над примятой травой. Антип усмехнулся. Неспешно вынул из-за пояса топор и зашагал в лес.

За полдня наладить плот, разумеется, не успели, и решено было закончить наутро. Доев остатки грибов, начали устраиваться спать. Над рекой поднялась

луна, загорелись синие, холодные звёзды. Антип, взяв ружьё, на всякий случай осмотрел сумеречную чащобу и пустой, залитый блёклым светом берег. Кругом было тихо, осенняя тайга стояла молчаливая, словно мёртвая. Волглый воздух пробирался за ворот отсыревшей одежды, коготками царапал спину. От голода сна не было ни в одном глазу. Передёрнув плечами, Антип уже собрался было раздуть прогоревшие угли, когда заметил у самой реки закутавшуюся в азым фигурку. Удивившись, он подошёл ближе.

- Васёнка! Отчего не спишь?

- Ты, Антип Прокопъич? - не оглядываясь, спросила она.

- Я. Спать-то пойдёшь? Завтра дела много будет...

Василиса повернулась к нему. Лицо её казалось спокойным. На щеках, отливавших в лунном свете голубизной, мохнато шевелились тени от ресниц.

- Ступай, Антип Прокопъич. Я следом. Посижу малость и пойду.

- Не усни, гляди, здесь. Застынешь.

- Ничего...

- Ты, Васёнка, не грусти, - Антип почувствовал, что должен как-то утешить её. - Дай только из тайги выбраться да как ни есть перезимовать. По весне в Расею отвезу тебя.

- Нешто можно это? - без удивления спросила Василиса. - Беглые ведь мы.

- Да этаких беглых полно решето... Живут же! - Антип подошёл, присел рядом. - Глядишь, до скитников доберёмся, бумаги справим... А там и в Белу землю проберёмся: оттуда, говорят, как с Дону, выдачи нет. А в Сибири тебе и делать нечего. Не растут здесь цветы-то твои. А без них ты вовсе засохнешь.

Василиса медленно повернулась к нему. Голубоватый свет лёг на её лицо, глубокими тенями обозначил впадины глаз, и Антипу вдруг стало не по себе.

- Что ты, Васёнка?

- Поди ближе, Антип Прокопъич.

Он встал. Поднялась и она. Двумя колодцами качнулись к нему глаза. Блеснули и пропали в них лунные блики.

- Не испугаешься ли, девка? – сразу всё поняв, осторожно спросил он.

- Чего бояться? Чего я там не видала-то? – она усмехнулась, но столько тяжёлой горечи было в этой улыбке, что Антип замер, так и не решившись коснуться ни руки, ни плеча Василисы. – Как ты меня назвал-то? Девкой? Где та девка, Антип Прокопъич, на каких дорогах завязла?

- Не хотела ведь допрежь. Я тебе и не люб...

- Так и я тебе не любя, – спокойно отозвалась она. – А жить-то всяко надо. Пусть уж всё по-людски будет. Кто у меня, кроме тебя, во всём свете есть?

Антип обнял Василису – и удивился: как сильно, горячо она вдруг прижалась к нему всем телом. Он так и не понял, что случилось, почему Василиса вдруг решилась?.. Но, прижимая к себе худенькое, хрупкое тело, нащупывая неумелыми поцелуями холодную шею, он думал лишь об одном: что Василиса никогда не узнает... Никогда она даже помыслить не должна о том, что совсем другая красота навек отравила его. И не красота даже... Глазищи, не то серые, не то синие, холодный проблеск из-под ресниц, сурово сомкнутые губы, короткая морщинка на лбу, боль его, тоска вечная – Устинья... Живёт в сердце год за годом, – и не убрать, не вытравить. Уже и не саднит, притерпелся, словно к застарелому шраму. Но и не денется никуда. И об этом Василиса, видит Бог, не должна знать. Незачем. Права она: по-людски всё должно быть.

Антип бережно взял в ладони лицо Василисы – почему-то мокрое, – поцеловал её в одну щёку, в другую: осторожно, как маленькую сестрёнку. Шёпотом пообещал:

- Проживём, Васёнка. Ничего. Иди ко мне.

Над Аюн-рекой встали тяжёлые тучи. Они перевалили через горную гряду, зацепились сизыми, набрякшими брюхами за макушки кедров, и – застыли над ними, неподвижные и суровые, лишь изредка роняя колкие снежинки. Река текла под ними серая, ледяная, вяло огибая изломанные ветром древние кряжи. Изредка сквозь тучи пробивался узкий, холодный луч – и на воде свинцовой чешуёй вспыхивала рябь.

Одиннадцатый день путники сплавлялись по реке. Как и обещал Гамбо, река была спокойной и медленно двигалась в каменистых берегах, поросших пламенеющим осенним лесом. Плот плыл по ней величаво и неспешно, неся усталых беглецов всё дальше и дальше на юг. И всё было, казалось, неплохо – кроме голода. Все запасы вышли, кончилась последняя крупа. На ночь приставали к пологому берегу, искали в тайге пожухшие саранки, набивали ноющие животы осточертевшими луковичками. На третий день Ефим, всегда больше всех страдавший от голода, взбунтовался, объявил, что родня намеренно вводит его в грех и пытается довести до людоедства, пообещал в первую очередь умять Петьку («Молодое-то мяско мягше, а Таньки мне мало окажется!»), взял ружьё и решительным шагом двинулся в тайгу. Петька нервно хихикнул и посмотрел на Устинью. Та, в свою очередь – на Антипа.

– Стало быть, шалашуку ставим, – невозмутимо объявил тот, втаскивая плот на берег и для верности наваливая на него большой камень. – Ништо... Может и подстрелит кого. По грохоту враз узнаем.

– Как бы самого его не подстрелили б! – проворчала Устинья. – Тьфу, вот ведь башка бестолковая... Ничего не понимает, когда голодный!

Выстрела они так и не услышали и изрядно испугались, когда уже через час довольный Ефим выломился из кустов с четырьмя огромными рыбинами, завёрнутыми в азам.

– И полверсты в лес не отошёл – ручей сыскал! – улыбаясь во весь рот, объявил он. – А там – вот такие рыбищи по дну ходят и на меня глядят! Руками прямо из воды повынимал! Четырёх вон вытащить успел, пока другие спохватились да под коряги убрались! Вот сейчас мы их на угольках-то... Жалко, хлебца нет!

Вместо хлеба пришлось довольствоваться печёными клубнями какого-то волосатого растеньица, которые Устинья принесла в подоле, уверяя, что они

вполне съедобны. Впервые за много-много дней путники наелись досыта и решили наутро ещё раз посетить ручей с безмозглыми рыбами. Спать ложились весёлыми, и Устинья даже взялась было рассказывать сказку – но уснула на полуслове, не услышав разочарованного Петькиного вздоха.

– Завтра дослушаешь, – пообещал ему Ефим и понёс жену в шалаш.

Устинья проснулась среди ночи – словно кто-то ткнул её под рёбра. Вокруг было темным-темно. Рядом посапывал Ефим. Под рукой кололся примятый лапник – а у входа в шалаш горели два зелёных, голодных глаза.

– Ефи-и-и-и-им!!!!

От дикого вопля Устиньи проснулись все, Ефим, ещё не поняв, что случилось, схватился за ружьё. Выстрел, грянув, разорвал тишину, завизжала Василиса, заплакала Танюшка – и в этот миг луна вынырнула из-за туч. И все увидели остроухую тень, нехотя трусящую от берега к лесу. И ещё четыре, неподвижно стоящие на пологом холме.

– Волки... – севшим голосом сказал Антип, глядя на них. – Устя Даниловна, как ты его почуяла-то? Ведь ещё малость – и бросился бы он!

– С-сама не знаю... – стуча зубами, созналась Устя. – Прямо как вздёрнуло! Да нешто волка криком возьмёшь? Слава Богу, Ефим не растерялся – выпалил!

Ефим на это смущённо сознался, что вовсе не собирался стрелять.

– С чего пальнуло – не пойму! – озадаченно осматривал он ружьё. – Хорошо ещё, что не покалечило никого! Схватил её, верно, неловко спросонья...

– Вот ведь нечисть... и не уходят даже! – Антип не мог отвести глаз от волков, непринуждённо рассеившихся в нескольких шагах от шалаша. – Сейчас костёр запалю! Только бы сушняка хватило!

Разумеется, спать больше никто не лёг. Братья развели два огромных костра, искры от которых, взлетая вверх, грозились подпалить нижние ветви старых кедров. Антип с трудом сумел перезарядить кремнёвку, но поручиться за то, что

следующий выстрел произойдёт удачно, не мог.

– Кто её знает... Кострома упреждал, что заклинить может. Теперь уж стрелять только в самой крайности!

– Нипочём больше на берегу спать нельзя, – убеждённо сказала Устинья. У неё по спине пробежал мороз при мысли о том, что случилось бы, проснись она на минуту позже. – Сожрут нас без покаяния – и всё! Придётся на реке оставаться! Спать, что ли, в череду, чтоб о берега не побило...

– Якорь сладим, и всё, – пообещал Антип.

Волки, к счастью, не рискнули подойти к пылающим кострам и ушли на рассвете, беззвучными тенями растаяв в тайге. Путники собрали и перенесли на плот небогатые пожитки, и Ефим только вздохнул, вспомнив о волшебном ручье с непугаными рыбинами.

– Может, сбегать всё-таки?..

– Поди-поди, обрадуй волков-то! – рассвирепела невыспавшаяся и злая Устинья. – Они, небось, только и дожидаются: не окажется ль из пятерых-то хоть один дурак, не сунется ли сам нам на зубы?! Сколь у нас рыб осталось? Две? Да вон корешки ещё... Ничего, протянем, перепояшемся потужей. Антип Прокопъич, ты куда каменюку-то волочишь?

Антип в самом деле нашёл на берегу широкий круглый камень и теперь, надсаживаясь, катил его к плоту. Ефим подошёл помочь; вместе они втащили камень на плот и обвязали его верёвкой.

– Вот будет нам якорь! Теперь спать на воде будем! Залазьте, бабы, на плот: трогаем помаленьку!

Ещё несколько дней прошли спокойно. Днём плыли по реке, глядя на проплывающие мимо скалистые берега, на золотистые лиственницы, кедры и вековые ели, словно сизой щетиной проросшие на каменных утёсах. Ночью бросали якорь в нескольких саженях от берега, разводили костёр прямо на плоту, грелись, спали. Днём иногда приставали к берегу, и Устинья, под охраной

кого-нибудь из братьев с ружьём, шла на поиски съедобных корней. Найти удавалось мало, лес уже накрывало зимой, но это позволяло хоть как-то прокормиться. Во время одной из стоянок Петька обнаружил в зарослях камыша лису, ожесточённо терзавшую пучок перьев. Мальчишка отогнал хищницу камнями и триумфально принёс лисью добычу на плот. Это оказалась большая птица с перепончатыми лапами, похожая на утку. Её ощипали, запекли в углях. Мясо оказалось невыносимо жёстким, но это всё-таки было серьёзным подкреплением для скукожившихся желудков.

Ночами было холодно, промозгло; костёр почти не спасал. Отсыревшую одежду невозможно было просушить до конца. Петька постоянно мёрз и шмыгал носом, пряча красные ладони под мышками. Хорошо было только Танюшке, всегда сухой и согретой у материнской груди, полной молока.

– Ничего, ничего, скоро уж, – успокаивала голодных мужиков Устинья. – Восемь дён уж минуло, девятый пошёл. Глядишь, скоро и на берег выволакиваться.

Теперь Ефим и Антип внимательно следили за берегами, боясь пропустить тот миг, когда они, по рассказам бурята, начнут делаться уже.

– Главное – не забыть бы... – в сотый раз повторял Антип, глядя на реку, всё так же величаво и медленно движущуюся в широких берегах, – Медвеж-камень проплывём, река шибче побежит – и надо на берег выбираться... Снег бы не пошёл, вот что!

Снег был в самом деле серьёзной угрозой. Одежда путников давно напоминала лоскутки и ленты, непонятно каким образом державшиеся на плечах. Подолы женщин висели изорванной бахромой, не согревая колен. Сапоги мужчин держались на честном слове и настойчиво просили каши. У Устиньи разваливались старые каторжанские «коты». Василиса и вовсе была босой: нечего было даже изорвать ей на обмотки. В один платок Устинья кутала дочку, другой венчал плечи Петьки, на котором давно истлела рубаха. К счастью, тучи, закрывшие всё небо, не спешили ещё разродиться снегом – но миг этот был недалёк.

На девятую ночь путники, как обычно, спустили якорь в двух саженьях от пологого берега. Камень, булькнув, ушёл в тёмную глубину. Антип озабоченно проводил его взглядом.

– Может, подальше лучше бы? – вслух подумал он. – Вода-то по утрам у берега уже замерзает. Как схватит – так наутро и не вырубимся.

– Подальше – верёвки не хватит, – возразил Ефим. – И так уже истёрлась вся. Быстрее бы уж... Как там Гамбо наш говорил? На десятый день? Скоро, стало быть, совсем...

Они уснули, крепко прижавшись друг к другу. Василиса, свернувшись калачиком, как ребёнок, спала под мышкой у Антипа. С другой стороны к нему подкатился, вцарапавшись под азиям, Петька. Между Ефимом и Устиньей сладко сопела Танюшка. И никто из них не проснулся, когда плот вдруг качнулся раз, другой, вздрогнул – и медленно, словно недоверчиво отошёл от берега. За ним тоненьким, мокрым хвостом тянулся по воде обрывок перетёршейся верёвки. А наверху горел месяц, заливая каменные уступы зеленоватым светом. И чёрный, огромный камень на правом берегу был похож в этом призрачном сиянии на сгорбившегося у воды медведя.

... – Ефимка, вставай! Вставай, беда!

Ефим торчком сел на плоту. Был уже день. Брёвна под ним ходили ходуном.

– Оторвались мы ночью-то! – Антип, стоя на краю плота, направлял его жердиной. – Верёвка, видать, не сдержала! Невесть сколько по теченью прошли! И камня не видать!

Ефим, ещё не проснувшись окончательно, диким взглядом смотрел на берега. До них теперь можно было достать ладонью. Река неслась вперёд как полоумная, подбрасывая плот и опасно раскачивая его. Холодные брызги летели в лицо. Ефим увидел перепуганные лица женщин – и страх ледяной волной хлынул за ворот.

– Нешто и Медвеж-камень проспали?!

– Проспали, видать!

– Так на берег надо... – начал было Ефим... и умолк. Было очевидно, что приставать к отвесным скалам, в которые превратились берега, бессмысленно. Ефим схватил вторую жердину и, едва удерживаясь на скачущем плоту, пошёл на другой край.

Вскоре он окликнул брата:

– Антипка! Кажись, ещё быстрее понесло? Гляди, как у камней уже вертит! Стало быть, пороги скоро?

Антип в ответ только покрутил головой и незаметно оглянулся на середину плота, где, тесно прижавшись друг к дружке, сидели женщины с детьми.

– Устька, Васёнка, вы покрепче держитесь! – скомандовал, перекрикивая рёв воды, Ефим. – Как понесёт – так и цепляйтесь! Петька, слышь, что говорю? Ваше дело – держаться да не голосить! Потому всё равно ничего не услышим! Устька, ты Танюшку привяжи!

– Да уж привязала, – бледная Устинья накрепко приматывала к себе платком дочку. – А коли в воду ухнем, Ефим, тогда что?

– Тогда... помоги нам Бог. Цепляйтесь за что ни есть – и всё! – Ефим обернулся – посмотреть на жену. Её тревожный взгляд полоснул его как ножом, и он поспешил успокоить, – Не дрожи, дура, авось выгребем. Попробуем между порогами...

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Фёдор-Американец – граф Фёдор Иванович Толстой. Был женат на певице из цыганского хора Прасковье Тугаевой.

Шереметев – граф Николай Петрович Шереметев. Был женат на крепостной актрисе Прасковье Ковалёвой-Жемчуговой.

2

Аюн – медведь (бурят.)

----

Купить: [https://tellnovel.me/tumanova\\_anastasiya/goryuch-kamen-alatyr](https://tellnovel.me/tumanova_anastasiya/goryuch-kamen-alatyr)

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)